

A52.1

кб

Б 1082029



АЛТАЙ

1980

1

нии, одни и те же проблемы, и даже качки — и те одни и те же».

— И вот вечером заходит к ней этот сосед зачем-то. Обыкновенный мужик. В годах. И кулаком от него совсем не пахнет. Хотел с ним разговор я завести, да...

— Да постеснялся, — добавил Владя. Теперь он не был сонным, теперь он заершился. — Мы стали стеснительными. Сынам кулака стесняемся напомнить, что они сыны кулака. Они не виноваты, что родились в кулацкой семье. Ну, а если отцовская философия подействовала на сына, а через него и на внуков? А если очередной поворот истории? На чьей стороне будут эти кулацкие внучки? Мы должны это предвидеть, должны это знать. А если так, то уже сейчас надо все их нутро знать досконально, и если надо — переделывать. А мы стали добренькими, нам в морду плюнут, мы и драться не полезем — нету указания...

— Полезем, Владя, полезем. Ты не гибай. Я вовсе не о том, я о другом. Вот, как этот конфликт разрешить? Она, безусловно, имеет право на хорошую жизнь, она столько сделала! Но и он — он ведь тоже имеет такое же право на такую же жизнь. Он ничего не совершал, он полноправный член общества. Что же, его так всю жизнь и клеймить?

— Пусть он делом докажет, что у него выветрились эти кулацкие замашки!

— Но ведь он не сидит сложа руки и не спекулирует помидорами и виноградом. Он сварщик!

— Саня, дело — это одно, а работа — это другое. Можно работать себе и работать, а окружающие порядки ненавидеть. Тихой ненавистью. А тихая ненависть — она всегда опаснее, чем прямое отрицание. Она дает плоды лишь в будущем...

— Ладно, ребята, — перебил их Пантелей, — давайте лучше выпьем-ка за успех моего безнадежного предприятия.

ДВАДЦАТЫЕ

1

Переворот в жизни Митьки Заикина произошел сразу же после его встречи с анненковским отрядом. До этого он прислуживал в лавке отцу, тщедушному, но властному купчишке мелкого пошиба. Продавал сахар, керосин, селедку, леденцы. Так и тек семнадцатый год его жизни, потом потек восемнадцатый, вот тут-то все и случилось.

Славгородский уезд стонал. Город был взбудоражен. Стоял золотой сентябрь, но на город пала тьма.

Военный министр так называемого «омского правительства» господин Иванов-Ринов отдал приказ «очистить от большевистских банд землю русскую». Этот приказ был отдан головорезам Анненкова, и те черным смерчем полетели по селам и деревням Славгородского уезда. Начали со Славгорода.

Семнадцатилетний приказчик в мелочной лавчонке своего отца, ничего в жизни, кроме зуботычин, не знавший, Митька Заикин с интересом следил за сценой, разыгравшейся на площади перед Народным домом.

Сюда привели арестованных делегатов крестьянского съезда. Набралось их человек девяносто, и казаки выстраивали их, подравнивая «строй» нагайками.

До сих пор стоят в ушах Митьки чаб-кающие звуки, хруст костей — казаки порубили всех до одного...

Не помня себя, Митька бросился бежать. Очнулся только у своей лавки. И тут из-за угла выскочил человек; за которым гнался верховой. Казак изящно выгнулся, свистнула шашка, и обернувшийся человек упал с перерубленным лицом.

Митька юркнул в свою лавку, где мелко-мелко крестился испуганный отец, залез за мешки с мукой, забился там, и его должно встало, он трясся крупной холодной дрожью.

Отец, еще вчера жестоко избивший Митьку, теперь гладил его по голове, что-то щептал, крестил Митьку, и озлобленный и дрожащий Митька неожиданно укусил его за руку. Не ожидавший этого отец дал ему затрещину, тогда Митька разогнулся, встал во весь рост и с наслаждением стал бить своего невзрачного и маленького, слабого отца, от которого терпел столько ежедневных зуботычин, а когда тот упал, пнул его сапогом.

Отец уполз в склад, зажимая кровавый рот. В лавке было пусто до самого вечера. Митька хлебнул немного прямо из штофа, почувствовал незнакомое чувство свободы. Ему было скучно, и он несколько раз подходил к дверям лавки, но прямо у входа лежал тот, с разрубленным лицом, и Митька пугался, но его тянуло туда, и он подходил к двери снова и снова и каждый раз пугался. Потом кто-то труп убрал, а под вечер в дверь забухали приклады.

Митька вывернул фитиль и открыл дверь лавки. Вошли двое в кожаных галифе.

— Водки! — коротко потребовал плотный, с кустистыми бровями рыжий человек.

Митька поставил начатый штоф. Рыжий ударом нагайки сбросил его на пол. Жалобно звякнуло стекло.

— Водки!

Тогда Митька притащил четверть. Мужики пили, хрустели леденцами, а Митька стоял и дрожал. Он уже видел, как лежит где-нибудь в переулке с перерубленным лицом.

Незнакомцы негромко переговаривались о чем-то, но Митька не понимал смысла их разговора. Наконец, Рыжий заметил его присутствие, вздернул раздвоенный подбородок:

— Сколько лет живешь, дура?

— Семнадцать... — голос Митьки был едва слышен.

— Экая дубина за семнадцать-то годов выдула! — Засмеялся второй, раздирая пальцами селедку.

— Чем занимался? — Рыжий опять взялся за четверть. — Стрелять умеешь?

— Да с отцом все время охотимся, помогаю я ему, когда ездим. Вроде стреляю... — Митька трусил все отчаяннее, он пошмал, что вопросы эти совсем неспроста задают ему белые служаки.

— Пойдешь с нами? — спросил Рыжий, жестко прищутив глаза и выпятив нижнюю губу. И столько в его взгляде и выражении было скрытой угрозы, столько явной жестокости написано было на лице, что Митькино сердце захолонуло — вот если одно неверное слово, и сабля Рыжего легко прогуляется по его спине или груди. Или лицу...

— Пойду. — Митька заторопился. — Я давно хотел. Я ненавижу красных, они лавку отобрать грозили. Я только не знал, куда к вам идти. Я...

— Хватит якать, — отрубил Рыжий. — Пошли.

И они пошли.

2

Громадная горница солидного дома упала в дым. Четверо нетрезвых казаков сосали «козьи ножки» в палец толщиной. Стол был завален огрызками, битой посудой, на широкой лавке стояли стаканы, бутылки, четверти, штофы. Пахло самоном и портянками.

— Ну и здоровен ты детинушка, — пьяно протянул высокий плотный бородач, который приходил в лавку вместе с Ры-

жим. — Я, однако, в твои годы худей был. Девки-то нравятся?

Митька покраснел. Он и так стеснялся здесь. Да еще выпил стакан самогонки: страх прошел, стало легко и интересно, но он постоянно краснел — здесь говорили о таких вещах, что впору ушам завянуть.

— Ну-ка, скидывай свою поддевку, — сказал Рыжий, прищутив глаз от дыма самокрутки. — Давай-давай. Не маленький. Ну вот. И штаны тоже. Да не красней ты, тут одни мужики, ничего нового ты нам не откроешь.

Впервые в жизни Митька стоял голый среди незнакомых людей. В баню дома он ходил уже давно один, а когда купаться удавалось, то ведь среди своих же мальчишек или парней, там никого не было незнакомого. Он стыдливо переступал ногами, закрывался. Казаки ржали.

— Федьша! — зычно гаркнул Рыжий. — Давай учительшу!

Молоденькая стройная девушка с большими заплаканными глазами несмело переступила порог горницы и сразу же испуганно отпрянула назад.

Митька присел.

Казак-конвоир коротким тычком вбросил девушку в горницу и закрыл дверь.

— Раздевайся!

— Но, господа... — начала было девушка прерывистым голосом. Митька не знал, куда себя девать. — Господа, я дворянка. Вы же люди...

Рыжий встал и подошел к ней вплотную. От его запаха девушка непроизвольно поморщилась.

— Дворянка? Голубая кровь, говоришь? Тем лучше. А у нас тут одни хrustьяне да казаки. Я вот забайкальский казак. А кабы вы, голубая кровь, умели хозяйничать в свое время, так и не было б шас войны — никаких красных бы не было, были бы по селам да станицам крепкие хозяева да батраки. Дворянка... — Рыжий с ненавистью смотрел на нее. — Люди мы, ишь что! Мы не люди. Мы воины, братья атамана Анненкова. А твои люди были красными. Ты их, сука, книжкам учила, а место любого быдла в поле или в хлеву! Обучала? Обучала! А теперь вот этого обучишь. Только другой грамоте...

Все ослабились. Митька покраснел и отвернулся, но его взгляд упал на саблю, воткнутую в пол у его ног — на ней запеклись сгустки крови, в которых засохли спутанные человеческие волосы.

— Митька! Для себя присмотрел — да ладно, бери! — Рыжий под общий хохот

достал пистолет и, выразительно глядя на девушку, продул ствол.

Митька не знал, куда деваться, а девушка, бледно-синяя от рыданий, медленно раздевалась, стуча зубами.

— На лавку. Вот так. Да ноги-то сбрось. Да не так, дура! Одну сюда, другую сюда, — хозяйничал Рыжий, ворочая полуобморочную учительницу. — Митька, иди!

Казачки все ржали.

Митька испуганно дернулся назад, но натолкнулся на саблю, на ту саблю со спуганными человеческими волосками и в отчаяньи закрутил головой. Рыжий недобро хмыкнул...

— Дайте ему полстакана!

Митька поперхнулся, долго и нутжно кашлял, а Рыжий колотил его по спине и все подталкивал к лавке...

Митьке снова дали самогона. Он выпил его, тяжело дыша и кашляя. Переделся в брошенную одежду. Раздувая ноздри, в пьяном возбуждении оглядел себя. Галифе сидели на нем как влитые: сапоги, правда, были малость великоваты.

— Не беда, — успокоил его Рыжий. — Завтра же снимешь сдохлого красного.

Голова кружилась, и окна танцевали перед глазами. Какой-то щуплый казачок зажег три лампы.

— Ну вот, хахаль, с крещеньцем тебя. А теперь можешь проводить свою даму.

— Куда? — не понял Заикин.

— А хоть куда, — равнодушно протянул Рыжий. — Хоть на тот свет. Заряжен... — и он протянул Митьке пистолет.

Потом он опять пил самогон, что-то рассказывал, ему что-то рассказывали, его хлопали по плечу. А ложась спать на той же широкой лавке, он сонно и пьяно подумал, что теперь женщин у него будет много, теперь он в отряде атамана Анненкова. Завтра Рыжий со своими, среди которых теперь и он, Митька Заикин, идет на Черный Дол.

ЗАПИСЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

— Я вам все сказал. Мне терять нечего. Я старый. Я молю смерть — приди, а она не идет. Если б вам так! Я бы обрадовался расстрелу. Только чтобы ночью, тихо кто-нибудь подошел ко мне, сонному, и выстрелил в затылок.

— Да бог с вами, — сказал я испугавшись.

— Да, с нами бог, — спокойно сказал он. Слишком спокойно. Как-то даже безучастно.

«И атаман Анненков», — добавил я беззвучно.

Почему я должен разговаривать с этим ископаемым — а в это время кто-то едет на пикник, кто-то варит сталь, кто-то предает друга, кто-то принимает роды, кто-то проводит в песках танковые учения, кто-то хоронит свою любовь. Они заняты делом, (делом, ДЕЛОМ!) — хорошим или мерзким, радостным или грустным, но они заняты! Я же сижу, слушаю, и мне выть хочется от всех этих подробностей. И будет ли из всего этого хоть мизерная польза?

— Вот так мы прошли весь Алтай и дошли до Семипалатинска. Там я уже привык к убийствам каждый день. Там даже несколько вагонов стояло на путях, с принадлежностями для пыток. Вечером приводили туда арестованных, «бунтовщиков». А у господ офицеров была страсть — напиться или нанюхаться, а потом порезать большевичков. Они приходили размяться. Это как коканн. Помню одного кавказца, тот любил паха резать, промежности. Люди озверели от безысходности.

А я однажды пережил смертельный ужас. Нас бросили на Лепсинский уезд. Это уже было потом, позже. Два раза нас туда бросали. А билась мы с крестьянами, с мужиками. И там меня раз из седла вышибли. Очнулся в землянке у красных. А за перегородкой какой-то старик твердит — да что вы, дескать, его расстреливать, он молодой, не понимает еще, он просто обманут, не отдает отчета...

Я лежал связанный и думал об этом старике. Медик ли он, учитель ли — разговор больно грамотный вел. От своих меня, врага, отстаивал. И думал, что я бы не стал так говорить. Такого милосердия не бывает, я его не видел. Это красные увлекают меня в сети. Так Рыжий всегда говорил.

А потом наш эскадрон навалился на красных, и мы поменялись ролями. Меня освободил Рыжий, лично разрезал сыромятные ремни на руках и ногах шашкой, поднял меня и сказал:

— Молодец! Я тебя давно заметил. Еще после той девки. Помнишь?

Меня вели к коню, ноги у меня не шли — затекли. Увидел я этого старика, сидел он связанный и сгорбленный. Я подошел к нему и спросил, о чем он думает.

Тот внимательно на меня посмотрел и сказал:

— Я думаю, что сейчас умру. И не от пуль этих, а от твоей руки, сосунок. Ты теперь на коне. Ты пришел поиздеваться надо мной. Но придет время, когда ты будешь стыдиться этого, хотя никто от тебя не будет требовать покаяния. Твоя совесть проснется. Это будет очень поздно, но это будет. И ты будешь клясть жизнь, из которой не сможешь уйти. Тебе очень будет нравиться жизнь, которую мы построим. Но ты не будешь жить в ней. Ты будешь жить около. Около. И уж лучше умереть, чем так жить. Жить так, как будешь жить ты.

Много лет спустя я вспомнил его слова. Слово в слово вспомнил. И теперь забыть их не могу. И старика часто вспоминаю...

2

Заикин заплакал. Я сидел и ждал. Неправду говорят, что журналист должен уметь хорошо говорить. Прежде всего он должен уметь хорошо молчать.

— Теперь я понимаю его. Он давно истлел, но все еще хватает меня. Он был прав. Он был прав... Я все отдал. Всем рассчитался. У меня не было и нет детей, семьи, внуков. Я сидел с двадцатого по войну. И в войну был в штрафном. Меня смерть не брала. Я уже не могу — меня все эти тени преследуют. Я не могу ни с кем разговаривать — каждый напоминает мне кого-то, кого я убил. Кто ростом. Кто цветом глаз. Кто прищуром. Кто носом. Кто жестом, кто улыбкой. Поймет ли это кто? Эту ежедневную пытку!

— Могли вы ведь и просто так работать? Как все. И не знали бы мучений. Если бы...

— Да, если бы!

Он поднялся, достал из буфета пузатый графин. И одну рюмку.

— Я знаю, вы пить со мной не станете. Не унижитесь? — Он хмыкнул. — Дело ваше. Но пришли вы ко мне не из-за меня. Это я тоже знаю. Вы пришли из-за Ряшенцева. Или, как я называл его тогда, из-за Рыжего. Потому что все ваши вопросы так и крутятся вокруг него. Н-да...

Он выпил.

— Я хоть после войны мало-мальски жить стал, не дрожа. А он всю жизнь дрожит.

Он еще раз выпил.

— И то, что я вам тут поплакался — это не для вас. Это для меня. Не воображайте, что вы меня вызвали на откровенность. Нет! Просто я не могу уже больше

это хранить в себе. Я много лет провел в тюрьме. Сладкого мало. Но я о том не рассказываю. А о Ряшенцеве я должен рассказать кому-то. Рассказать все. Если успею.

Он выпил еще. На щеках появились мелкие красные прожилки.

— Пока вы умывались в ванной, я просмотрел ваш пиджак. Вы приехали, судя по паспорту, из...

— Да-да, оттуда, — перебил я. — Не будем терять времени.

Я спешил вмешаться, опасаясь, что сейчас снова будет лавина слов. Этот старый бука утопит меня в своих мерзких переживаниях. Он будет на меня обрушивать потоки информации о том, как он грабил, жег, насиловал и резал людей. Это была его работа, он к ней привык, он тысячи раз вновь и вновь возвращался к тем дням в воспоминаниях, на допросах, во сне, в разговорах с волками-соседями по нарам или лесоразработкам. Но зачем это мне? Мне нужен Ряшенцев...

— И вас интересует Ряшенцев? — он повис надо мной всей своей рыхлой глыбой.

— Да. — сказал я, с тоской оглядываясь на дверь. На ней четко виднелись четыре накладных замка, один другого изощреннее.

ДВАДЦАТЫЕ

1

Анненков уходил.

Уходил в Китай, оставляя после себя горы трупов, безысходное горе и испепеляющую ненависть. Семипалатинск до сих пор еще помнит анненковские штандарты с человеческим черепом и перекрещенными костями.

Еще живы на востоке Казахстана и в Сибири люди, которые помнят призыв «С нами бог и атаман Анненков!» Еще живы люди, которые помнят...

Борис Анненков уходил. Позади осталась повальная мобилизация в армию. Остались села и города, обложенные контрибуцией — за невыполнение предъявленных требований расстрел каждого пятого.

Хочешь не хочешь, а выгребай сусеки, выводил последнюю коровенку...

За неделю до отступления из Семипалатинска «каждому офицеру и добровольцу, как сознательно жертвующим своей жизнью за Родину» (бедная Родина, кто только не клялся в верности тебе!), личным распоря-

жением атамана разрешалось на месте без суда и следствия расправляться с теми, кто посмеет оскорбить их «даже взглядом». Зверства анненковцев не знали границ. Они хотели держать в страхе всех и вся, и сами жили в постоянном страхе перед возмездием за содеянное.

В девятнадцатом восстали крестьяне в Лепсинском уезде. Вооружались косами, вилами, топорами, оставшимися от германской войны винтовками. Раздобыли даже несколько орудий и пулеметов. И вот на этот «укрепленный район» атаман дважды бросал свою ударную группу численностью в пятнадцать тысяч. И дважды отступал, неся ощутимые потери.

Только тогда, когда среди восставших начался страшный голод, когда их стали косить тиф, валить с ног цинга, только тогда они прекратили сопротивление. «Мир и порядок», обещанные атаманом, вылились в резню. Большинство сел и деревень уезда были сожжены дотла. Людей вешали, бросали на бороны, сажали на колья. Трупы некому было убирать.

Путь Анненкова, атамана Сибирского казачьего войска, начавшего свою атаманскую карьеру нападением на казачий собор в Омске и похищением знамени Ермака, был залит кровью.

Анненков уходил... Земля под его ногами горела — он это чувствовал, видел и спешил. Атамана даже свои ненавидели, боялись и ненавидели. Наступил двадцатый год, и Анненков впервые столкнулся с открытым неповиновением: часть солдат из бригады генерала Ярушина отказалась жечь село, убивать невинных детей и стариков; более того, некоторые из них даже попытались перейти на сторону красного полка, преследовавшего бригаду Ярушина.

Атаман приказал всех «заколебавшихся» расстрелять, что и было сделано в непроходимых камышах под Уч-Аралом и в степи, на берегах реки Эмень.

И вот последняя точка — перевал Сельке на подходе к китайской границе.

Армия была построена для торжественного парада по случаю «прощания с Родиной». Анненков произнес речь. Солдат и казаков, давно привыкших к его трескучим фразам, поразила и даже растрогала речь атамана. Анненков говорил, что здесь, на этом последнем клочке российской земли, у селения Чулак, он создаст неприступный укрепленный район, название которого будет символизировать братство и свободу: «Орлиное гнездо». Нет, еще не все потеряно, еще не все козыри пущены в ход... От-

сюда он будет совершать набеги на большевиков, постепенно расширяя территорию... Борьба предстоит длительной и нелегкой, потому и люди нужны самые решительные, самые смелые и стойкие. «Орлиному гнезду» нужны орлы! А тех, кто ослаб духом и телом, атаман благодарил за службу и отпускал на все четыре стороны — вольному воля. И добавлял, горестно усмехаясь: «Лучше сразу, чем потом... Бог вам судья».

Ему не сразу поверили. Но атаман повторил: желающие уйти могут сложить оружие.

Мрачно чернело узким проходом ущелье с высокими отвесными скалами. Это был путь в Россию. Громоздились вдали пугающие безжизненные горные кряжи. Там был Китай.

Наконец первые солдаты и казаки медленно и неуверенно вышли из строя, сложили оружие, отвели в сторону лошадей. За ними — другие.

Росла гора винтовок, карабинов, шашек. Сначала их были десятки, потом сотни, тысячи. К середине дня третья часть двадцатипяти тысячной армии атамана Анненкова, бросившая оружие, выстроилась вдоль ущелья по дороге, ведущей в Россию. Атаман объехал строй безоружных солдат, вглядываясь в лица, солдаты опускали головы, отводили глаза. А в это время интендантская команда спешно грузила вооружение, брошенное «возвращенцами». Сводный оркестр играл любимый марш атамана — «Прощание славянки». Слезы невольно навертывались на глаза. Кто-то из солдат не выдержал: «Хватит рвать душу. И так она вся в крови...» Атаман махнул рукой, повернул коня и ускакал, точно его и не было. Последним ушел оркестр. Некоторое время в ущелье стояла оглушительная тишина. Потом оставшиеся повернулись и тоже пошли, без строя, слитной массой, молча и торопливо, в противоположную сторону...

Вдруг с высоких каменистых утесов ударили пулеметы. Потом еще и еще. Они били по безоружным, оказавшимся в ловушке. Били беспощадно, наверняка.

Началась паника. Люди кинулись в разные стороны, но всюду встречали их пули.

Около тысячи человек все-таки прорвались из ущелья. Однако Анненков предвидел такую возможность. Безоружную, обезумевшую от страха толпу, добравшуюся до озера Ала-Куль, встретил оставленный на этот случай арьергард. Вся тысяча была расстреляна и порублена. Особенно усерд-

ствовал и преуспел в этом летучий отряд Рыжего — Клима Ряшенцева. Однако и сам Рыжий делал тут крутой поворот...

2

После лепсинских событий Ряшенцев стал задумываться над своей судьбой. Уж если безоружные крестьяне так сопротивляются, значит, будущего у атамана нет. Так думал Клима Рыжий, и очень скоро пришел к мысли, что с Анненковым пора расстаться...

А тут и случай удобный подвернулся.

Однажды летучий отряд Ряшенцева совершил налет на деревню, в которой находился штаб красных. Прорыв был дерзкий, и добыча оказалась богатой — захватили большевистского командира вместе с бумагами и печатью. Пока арьбергартная часть отряда отстреливалась от наседавших красноармейских конников, группа Ряшенцева с пленниками была далеко.

Можно было доложить Анненкову об удачном налете и заслужить похвалу, а может — и золотой портсигар. Но Клима Ряшенцев поступил иначе.

Он вызвал к себе Митьку Заикина. После Черного Дола в Митьке произошли немалые перемены, и это не укрылось от внимательных глаз Ряшенцева. Он приблизил Заикина к себе и посылал его на самые отчаянные и кровавые вылазки.

Митька явился, не заставив себя долго ждать. Молча, выжидательно глядел исподлобья. Они были вдвоем в комнате старого поповского дома, где противно пахло ладаном и квашеной капустой. Ряшенцев посвящал Митьку в свой план, однако предупредил:

— Если пикнешь где, хлопну сразу — ты меня знаешь.

План был великолепен. Надо было заставить любыми средствами красного командира подписать бумагу, удостоверяющую, что Ряшенцев и Заикин находились в армии атамана Анненкова не по своей воле, а по заданию органов Красной Армии. С такой бумагой в любой момент выйти из игры. Ряшенцев и сам мог написать такую бумагу и притиснуть печать, захваченную у красных, но, предвидя возможные осложнения, хотел иметь на этой фиктивной бумаге настоящую подпись. Где-то в красных архивах, несомненно, имеется подпись красного командира Краевского, а это значит, что такая бумага на все сто процентов обезопасит жизнь Климу Ряшенцеву.

Митька выслушал и покрутил головой. Буркнул:

— Нет, я вам не участник, брат. Не выдержу и вернусь в Славгород. Там меня узнают рано или поздно. А жить где-то далеко от Славгорода не могу. С отцом мириться надо, лавку не на кого оставить ему будет.

«Здорова фигура, да дура! — подумал Рыжий. — Лавку не на кого оставить... Это при красных-то!»

Он усмехнулся и тронул Митьку за плечо:

— Знаешь, я всегда верил тебе. И теперь вижу, что не ошибся. Вот тебе приказ: каждый день будешь беседовать с Краевским. Тверди одно: хотим перейти на сторону красных, а с нами уйдет и весь наш отряд. Но чтоб красные нас с тобой не хлопнули, мы должны иметь эти бумаги. Предложи ему сделку: мы его освобождаем и бежим вместе с ним, а в степи к нам присоединяется весь наш летучий отряд. Не бойся, он хоть и большевик, а жить хочет.

— А ну как он потом нас выдаст... — усомнился Митька.

— Дура, нам только подпись его получить, а потом мы его в расход... И концы в воду. Ну? Да мы с этой бумагой хоть куда. Тебе с такими документами красные разрешат держать не одну лавку...

Последний довод доконал Заикина, и тот согласился.

Дня через три заветная бумага с печатью и подписью Краевского лежала в кармане у Ряшенцева. Митька тоже получил справку.

В ночь на воскресенье они выехали в степь. Заикин по обыкновению молчал, а Ряшенцев был возбужден, с возмущением рассказывал о зверствах анненковских войск, живописал детали, сокрушался по поводу присяги, которую он вынужден был принять.

Краевский понимал, что и Ряшенцев и Заикин идут на это, спасая свою шкуру, хотел сразу же после возвращения передать их в комиссию по расследованию преступлений Анненкова, чтобы та определила меру их вины. А пока вынужден был поддакивать и улыбаться. Пока...

Улыбка так и осталась на его лице, когда Ряшенцев вдруг выхватил пистолет и выстрелил в упор.

У перевала Сельке Анненков включил летучий отряд Ряшенцева в арьбергартную

группу, расположив ее у озера Ала-Куль. Ей надлежало уничтожить тех, кто прорвется из ущелья.

Митька не знал, зачем они находятся у озера, Ряшенцев же был прекрасно осведомлен о плане «Орлиное гнездо». Здесь, у озера, он и решил избавиться от Митьки Заикина. И от Анненкова заблаговременно уйти. Зная атамана, он догадывался, что и арьберггардную часть, в которую входил он со своим отрядом, где-нибудь за горным краешем тоже ждет засада. Да, это последний шанс. Митька будет мертв. Рыжие усы Ряшенцев сбреет. Лет пять будет брить голову.

Никто его не узнает. А лет через пять можно будет вернуться в Забайкалье и хорошо устроиться.

Он ведь будет заслуженным человеком, подпольщиком, который много лет вел опасную работу в тылу анненковских войск.

ЗАПИСЬ ПЯТАЯ

Только теперь я рассмотрел Заикина как следует. Высокий сутулый старик, длинные руки с тяжелыми кистями, а на них вздувшиеся склеротические вены толщиной в палец. Длинный белый застарелый шрам, спускающийся из-под тщательно зачесанных волос и пересекающий щеку чуть не до верхней губы, делал его лицо вечно улыбающимся. Мощная мускулистая шея, кожа на ней натянута ровно, без старческих мешочков и складочек. Полотняная рубашка навывпуск обтягивает слегка опущенные плечи. Да, силы ему не занимать — это точно. Даже несмотря на возраст.

Но была в его фигуре какая-то вялость, какая-то незавершенность, что ли. Он и ходил по комнате, шаркая тапочками, хотя они были с задниками и не спадали со ступней. В своей одинокой старости он был, как заброшенный пустой дом...

А смерти, видно, он боялся. И мне показалось, не только смерти, но и самой жизни он боялся. Встреч с людьми. Разговоров и неизбежных расспросов. Иначе зачем ему такие здоровенные замки на дверь, четыре штуки, плюс цепочки, засовчики и щеколдочки.

Через прорезь в двери на пол мягко шлепнулась газета. Я прошел в переднюю и поднял ее. «Советская торговля». В нее вложен журнал «Здоровье».

Ну, «Здоровье» — это понятно, а «Советская торговля»? Неужели лавку забыть не может?

— Вы в торговле работаете?

— Нет. И не работал никогда. Я каменщик, поэтому и квартиру получил на старости лет, а то вечно по общежитиям скитался. Потом обменял алма-атинскую квартиру на вот этот домик здесь. А торговля — просто так, интересно...

Вот оно что... Лавку в Славгороде забыть не может! Через столько смертей, лет, расстойный и поворотов судьбы пронес свою хрустальную мечту о мелочной отцовской лавке, в которой даже карамель пахла керосином и селедкой. Благословенная собственность, как же долго ты за людей цепляешься! Столько лет прошло, а он все «интересуется». Хотя не свое дело, но все-таки Дело, Торговля! И хотя бы газетой он удовлетворял тягу к давно канувшей лавке.

«Ну а если бы у него была возможность открыть при немцах так называемое собственное дело, сдался ли бы он в плен?»

— Вы ведь воевали, да?

Он тяжело встает. Шаркая тапочками, подходит к шкафу, резному и неуклюжему, открывает фанерные незастекленные дверцы и достает коробку.

Военный билет старого образца. Удостоверения о медалях. А вот и сами медали. «За победу над Германией». Ну это понятно... «За взятие Кенигсберга». Да-а... Вокруг Кенигсберга в свое время жарко, ух как жарко было!

— Кенигсберг мы брали, я уже в обыкновенной части служил. Перевели из штрафбата за храбрость! Демобилизовался на общих основаниях.

Он оживился, уши порозовели. Но это продолжалось недолго, потом расслабился, как-то сник.

— А потом начались мытарства с работой. Пришлось в Казахстан ехать, в России не брали. Даже на стройку. Не тот человек...

— Дмитрий Павлович, только вы не обижайтесь, мне это как журналисту надо, а вам не повредит — если буду писать, то заменю фамилию и название города на вымышленные... Если бы у вас была возможность сдаться в плен немцам, открыли бы вы при них лавку в оккупации?

Что он ответит? Он же говорит, что ничего уже не будет хуже, чем вся его жизнь, теперь уже не будет. Ответит ли он прямо? Или будет выкручиваться, создавая «имаж»?

Он коротко глянул на меня из-под густых седых бровей, и впервые я увидел в его глазах беззащитность. Но только на

миг, потом взгляд его стал колючим, губы сложились в презрительную усмешку:

— Открыл бы. Только в плен я и не думал сдаваться. Нет. Если бы с белыми воевали, то и им бы не сдался теперь — против вас нет уж такой силы. Я это понял еще в первые годы в тюрьме. Тогда ведь много белых сидело по лагерям, все больше офицеры. Так вот даже они, не все, конечно, и то пришли к выводу, что белая идея не бессмертна. Ну а лавку? Я после войны был в Славгороде... Даже дома своего не нашел. На его месте выстроили какое-то громадное учреждение. С большим трудом разыскал одногодка. Он тоже только что демобилизовался, в майорском звании, ждал направления куда-то на партийную работу. Говорил со мной сквозь зубы, руки не подал. И водку, как вы сейчас, не стал пить со мной. Сказал только, что лавку разграбили еще в том месяце анненковские вояки. Я ведь уходил из Славгорода в отряде Ряшенцева, а он шел первым... Если бы я знал, что в этот день, когда мы шли на Черный Дол, свои же атаманы разграбят лавку и зарубят отца, я бы... я бы самого атамана зарубил!

Мощная пятерня на клеенке сжалась в увесистый кулак. Он снова разжал пальцы, они дрожали.

— Вот тогда-то и стало ясно мне, что в Славгороде жить я не могу. Мать умерла в начале двадцатых, могилу ее я так и не разыскал. Косились в городе на меня. И махнул я в Алма-Ату. Конечно, начальство и завкадрами знали обо мне; не все, конечно, но многое...

Конечно. Смысла ему не было о себе распространяться на всех перекрестках. А страх, что кто-то узнает про его прошлое, все-таки был. Каждый день и каждый час. Поэтому-то, получив квартиру и дождавшись пенсии (пенсии!), он сменил ее на тайшетскую. Здесь его вообще никто опознать не мог. Мало ли пенсионеров проживает в одиночестве...

— Работал сначала с заключенными на стройке. Десятником. Потом попросился рядовым, но чтоб на вольную — узнали эски про меня каким-то образом и стали на побег подбивать, помог чтоб им как вольный. А я знал, что ничего из этого путевого не выйдет. Сам до войны два раза бежал. Меня ловили и дважды добавляли срок. Потом понял — лучше уж отсидеть свое, чем в бегах быть. Так ведь и всю жизнь просидеть можно. И так, если б не побег, я б задолго до войны вышел на волю.

Перевели меня на стройку каменщиком. Там до пенсии и доработал. Хотели как-то бригадиром поставить, да вовремя одумались. А пенсию мне завкадрами помог добиться. Душа-человек. Вот тогда в лавку нашу вошел бы не Рыжий, а этот завкадрами — у меня бы сейчас куча внуков была. А то прожил жизнь, а судьбы-то и не было. Хотел однажды сынишку заиметь, мальчишку усыновить какого-нибудь из детдома, но стал писать автобиографию и понял — нет, не дадут бывшему анненковцу ребенка солдата, погибшего за Советскую Россию. И правильно сделают...

Заикин налил себе еще. Обстоятельно, не торопясь, мелкими глотками выпил. Не морщась и не выдыхая, поставил стакан на стол, взял корочку, понюхал ее, повертел в руках и положил обратно в тарелку. Должно быть, алкоголь — его единственный друг...

— Ну а Ряшенцева вы так и не видели больше? — спрашиваю и думаю: подтвердится ли то, что писал мне Фрол Клинецов со слов Никиты Перепела?

— Видел. В тридцатом. Или в тридцать первом. Не помню. Помню только, что вели нас по перрону. В арестантский вагон. Пятерками. А он стоял в распахнутой шубе-борчатке, постукивал по белым пимам рукояткой кнута. Увидел меня, глаза округлились. А морда! Как дерьма съел, такая морда была. Узнал ведь... Пошел так торопливо. Я возьми да свисти ему вслед. Его как штыком в задницу сунули — побежал, только шуба развевается.

Я потом часто думал: как он там, на городском перроне, оказался? А мой сосед по нарам рассказывал, что тот председателем сельсовета в каком-то районе работает. Ну и дела! Решил я — никому! А выйду по чистой, приеду и задавлю его — пусть потом расстреливают, зато хоть раз в жизни доброе дело сделаю. Но не вышло. Сбежал — поймали. Я и бежал-то из-за него. Поймали, добавили. Еще раз, и опять добавили. Ну а после войны, как в Славгороде побывал да узнал про отца и лавку, ничего мне не мило стало. Да и устраиваться надо было, раз я демобилизовался как солдат армии, а не как штрафник и экз. Несколько раз уж совсем собирался ехать в тот город, потом решил иначе сделать. Разыскал я его через паспортный стол — не ожидал, что он под своей фамилией живет, да и черкнул ему письмишко. Так, мол, и так. Ехал, дескать, когда-то с вами в одном вагоне, и вы здорово про жизнь рассказывали да про село ваше. Хотел бы с вами переписывать-

ся, оба мы старики, есть что рассказать друг другу. Ну и все такое.

Зайкин помолчал. Потом усмехнулся.

— Поставил в письме вот этот тайшетский адрес, я уж тут жил тогда. Только фамилию поставил не свою, а от фонаря. Но Рыжий есть Рыжий. Письмо не вернулось, и ответа не было. Значит, жив. Теперь-то я уж съезжу к нему, раз вы разбредили мне все на свете. Чувствую, что гнет меня к земле, жить осталось мало. А задавить я его должен. Если успею. Иначе мне от себя прощения не будет. А оно мне нужно, хоть умереть спокойно. Если бы не Рыжий, жизнь бы у меня другая была.

Пожалуй, он опьянел. Надо спешить, иначе можно все потерять — замолчит и не вытянешь потом из него ни слова.

— А за что его убивать-то? Даже разговор вы какой-то странный завели. А если я, к примеру, в милицию сообщу?

Он усмехнулся левой половиной рта, отчего шрам на правой щеке немного подвинулся, и лицо осветилось веселой, прямо-таки радостной улыбкой.

— А вы вообще отсюда можете не выйти...

Наверное, у меня на лице что-то было написано, потому что он усмехнулся еще раз.

— Да не бойся, не нужен ты мне. Я вот вижу, ты к Ряшенцеву с другого конца подбираешься. Значит, не враг ты мне. Донести не пойдешь, иначе его заберут, а он тебе зачем-то нужен. Зачем?

Я заколебался. Говорить ему? Нет? А вдруг это все игра в раскаяние. Вдруг он письмом или телеграммой предупредит Ряшенцева. Тогда все пропало.

Выигрывая время, я вновь осмотрелся. Простенок между двумя окнами был сплошь заклеен вырезанными из журналов улыбающимися мордашками. А выше взметнул руку вверх знаменитый «Комбат», призывающий в атаку.

Неужели он тоскует по детям? Неужели тоскует по товарищам, живым и погибшим, вместе с которыми брал Кенигсберг и Пилау?

Я решил — будь что будет...

Когда я закончил рассказ про Клишковых, рассказал, как убили маленькую девочку, зарезали новорожденного, как кололи штыком в подпечке пятилетнего мальчишку, на котором потом нашли семнадцать штыковых ран, он встал. Ноздри его раздувались. Руки нервно шарили в карманах. Он повернулся к простенку, и голос его стал хриплым:

— Дай-ка закурить...

Я поднес ему папиросу, зажег спичку. Он глубоко затянулся, закашлял. Кашлял долго и нутжно. Положил папиросу на тарелку с хлебом.

— Отвык. Лет десять уж не курю. Семнадцать ран на пятилетнем пацане? Это Ряшенцев может. Рыжий это может.

Потом повернулся ко мне:

— Ладно. Я расскажу тебе о нашем с ним прощании. Но ты этим ничего не добьешься — пятьдесят лет с тех пор прошло, больше даже. Ладно... Но теперь я к нему обязательно съезжу. Вот подлечусь немного. Месячишка через три он у меня взвоет.

Он расстегнул рубашку, оголил левое плечо. Вершком выше левого соска шел длинный операционный рубец.

— Это тоже его. Немного в сердце не попал. Уж лучше бы попал — все сразу бы и кончилось...

ДВАДЦАТЫЕ

Дружба — дружбой, а табачок — врозь.

Пословица

Митька и Рыжий сидели на валунах на берегу озера и вели неторопливую беседу. Жизнь им теперь казалась безоблачной. Митька не знал, что Анненков сейчас расстреливает третью часть своего войска. А Ряшенцев старался скрыть возбуждение, сегодня же, именно сегодня, вот сейчас решится его судьба.

Они уже часа два гуляли по берегу, все дальше и дальше отходя от расположения арьбергской группы. Отсюда слышны были голоса всадников арьберггарда, но слов разобрать было невозможно. Как только начнется стрельба, Рыжий выстрелит в Митьку, единственного свидетеля его «сделки» с Краевским.

— Дай-ка свою справку, — как можно естественнее сказал Рыжий. Митька, ничего не подозревая, встал, достал из подседельной сумы завернутый в тряпку металлический портсигар, вытащил из него сложенный вчетверо лист с печатью и подписью красного командира Краевского.

Ряшенцев повертел в руках бумагу, словно бы к чему-то присматриваясь, неожиданно смял ее в шарик и, широко размахнувшись, бросил в озеро. Ветер погнал легкий шарик от берега.

— Ты что? — заорал Митька. И осекся — на него смотрело черное очко пистолета.

Он ничего не понимал. Ряшенцев наставляет на него оружие. Но разве не он, Митька Заикин, два года был, по существу, правой рукой Рыжего? Безотказным помощником был Митька Заикин Рыжему! И, чувствуя, как холодеют руки и ноги, спросил упавшим голосом:

— Ты чего?..

— А ничего, дура стоеросовая. Теперь ты мне не нужен. Только мешать будешь. С твоим-то умишком тебя скоро расколят. Все, тебе, Митя, крышка. Анненков уходит в Китай. Тех, кто захотел в Россию, он сейчас расстреливает. Слышишь? Пулеметы говорят... Остальных мы порубим, если они сюда прорвутся, для того мы здесь и сидим. Но мой отряд уйдет, а я останусь. А тебе места нет, Митя. Ты про меня, Митя, ой как много знаешь. Так что молись...

Митька стоял не шелохнувшись. Где-то за горой начался далекий нестройный рев — это бежала та тысяча анненковцев, которая прорвалась из ущелья, прошла сквозь пулеметный огонь.

— Банников! — крикнул Ряшенцев, не сводя с Митьки глаз и видя, как тот подбирается весь, готовясь к прыжку. — Готовь отряд в атаку!

Рев приближался с каждой секундой. Кулаки Митьки сжались. Но они отошли далеко от валунов, на которые Митька выложил свои пистолет и шашку по просьбе Рыжего.

— Отряд! По коням! — крикнул снова Рыжий. — Банников! Командуешь за меня. Вперрре-е-од!

И тут Митька бросился на Рыжего, но напоролся на выстрел. Митька сделал два шага назад, схватился обеими руками за грудь и начал медленно заваливаться назад.

Он падал на спину за валуны, и лицо его было непонимающим и злым. Пока он падал — нехотя, словно бы раздумывая, — Рыжий выхватил шашку и для верности рубанул наискось по Митькиной голове.

Удар получился несильным — шашка скользнула по валуну, за который завалился Митька, но Ряшенцев и так был уверен, что с Заикиным — все.

Митька не видел, как ряшенцевский отряд рубил своих же головорезов, бежавших от своих и напоротившихся на своих. Не видел, как, ведя двух лошадей в поводу, по камышам крался Рыжий.

Два дня за валуном без сознания пролежал Митька Заикин. Лежать бы его косточкам там и посейчас, если бы похоронная команда красных не обнаружила его и не отправила в лазарет.

Тем, что он выжил, он обязан своему могучему организму да молодости. Вместе с красными тяжелоранеными, а их набралось десятка два после рубки с арьергардом Анненкова, Митьку отправили обозом в город Верный. Полковой врач был уверен, что он не дотянет до госпиталя, но и оставлять его в походном лазарете тоже не было смысла.

А Митька не только дотянул, но и выдержал тяжелейшую операцию — пуля задела около сердца, едва не задев его.

Почти полгода лежал он в госпитале, его пока не особенно тревожили, хотя предварительный допрос сняли, и Митька напелл три короба, что взяли его, дескать, по мобилизации. Таких случаев было полным-полно, все они проверялись и уточнялись, и Митька правильно рассудил, что пока начнется проверка да переписка, пока губерния писать будет, он, бог даст, к этому времени ходить будет, а удрать из госпиталя дважды два. Правда, будущая жизнь ему представлялась весьма туманно, но об этом он будет думать потом, главное — выскочить за ворота госпиталя.

Однако судьбе было угодно рассудить несколько иначе. Примерно в то время, когда Митька стал потихоньку ходить по палате, в госпитале появилась новая санитарка. Была она родом из Лепсинского уезда и чудом уцелела при расправе анненковцев с крестьянами. В их селе «порядок наводил» летучий отряд Ряшенцева, и новая санитарка запомнила Митьку на всю жизнь.

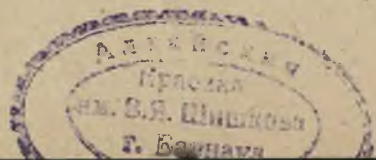
В первый же день, войдя в палату, она увидела Митьку, долго не отрывала от него широко распахнутых и остановившихся глаз, потом вдруг кинулась к нему, схватила за глотку, еле оттащила ее; ослабевшая в руках выздоравливающих красноармейцев, она всхлипывала и твердила одно: «Изверг... он же — изверг, живых людей в землю... Да я его своими руками задушу. Пустите меня».

Вскоре после того случая Митьку взяли под стражу, и на ноги ставили уже не в госпитале, а в тюремном лазарете.

ЗАПИСЬ ШЕСТАЯ

1

Редактор повертел в руках письмо, положил на полированный стол, слегка прищепнул рукой:



5 10820 29



М. КОВШНИКОВА.
«Хлеб, молоко
и ягоды». 1973 г.



П. МИРОНОВ.
«В поле». 1973 г.

— Если ты заказываешь авторам газетные материалы, то пусть присылают не на твое личное имя, а на редакцию, на отдел. Иначе мы не сможем их регистрировать.

— Боюсь, что это не газетный материал.

Я сел на диван сбоку стола и взял конверт. Почерк мне ни о чем не говорил — какой-то неровный, прыгающий. Или торопился кто, или сознательно хотел изменить почерк. Я надорвал конверт, вынул четвертушку, развернул — там и текста всего одна строка. И подписи никакой — анонимка.

«Не копай Клинцовых. Тебе будет то же».

Я сначала не понял — что «то же». А потом мне стало смешно. Кто-то грозил, что меня постигнет та же участь, что и Клинцовых. Ну разве не хохма? А почему, собственно, хохма? Ради смеха такие письма не пишут. Почтовый штампель отпечата — Марково. Послано неделю назад, с пятницы лежит у редактора, сегодня понедельник. Все правильно. Но ведь меня не было целый месяц! Целый месяц я «не копал» Клинцовых. Вернее, копал, но в другом месте.

Да и про мои дела до этого знал только Болдырев, семья Воробьевых да Фрол Клинцов. Кто же из них проговорился?

Болдырев? Нет, фронтовик, горевший в танке, зять «тещи» Лизаветы, в девичестве Клинцовой, и коммуниста Сергея Воробьева, не мог он этого сделать. Если только, конечно, его жена по секрету не рассказала какой-нибудь сослуживице по бухгалтерии. Ну а бухгалтерия в любом колхозе — это ж источник информации.

Воробьевы? Тоже нет. Они кровно заинтересованы в раскрытии правды и понимают, что всякие слова преждевременны.

Фрол Клинцов? Может, он приезжал в Марково? Надо немедленно позвонить Болдыреву.

— Вот тебе еще письмишко. Это уж наверняка личное. Ты что скис? — Редактор потянулся из-за стола и левой рукой взял у меня листок, глянул в него.

— Белиберда какая... Смотри, Пантелей, доведут тебя частые командировки в Марково.

— Доведут, — коротко согласился я. И взял со стола второе письмо. Оно было от Клинцова. От Фрола.

— О-о! Паня-Пантеляша! — Это вошел зам. Сел рядом, стиснул руку. — Ну как? С успехом?

— С ним...

— Идем-ка ко мне. Успеешь еще с редактором наговориться. Пойдем, пойдем, похвастаюсь тебе.

И он буквально потащил меня в свой кабинет.

— Смотри! — Морщинки на его лице разгладились, он был доволен, прямо смесь умиленья и нежности.

И было отчего. У него на столе лежал весь Ефим Черняк: «Жандармы истории», «Химеры старого мира», «Пять столетий тайной войны», «Приговор веков» и даже «Пророки национализма». Впрочем «Пророков» кто-то аккуратно выдрал из журнала и переплел. Я ощутил острую зависть — много лет я гоняюсь сначала за одной, потом выйдет вторая — за второй книгами Черняка, а тут их целая пачка. Было отчего изумиться. Зам довольно улыбался:

— Пришли недавно. Пока не открывал еще ни одну — хотел увидеть твое лицо. Выну из стола, поглажу, покручу в руках. Нет, думаю, сначала погляжу на выражение лица Пантелея, а уж потом всласть...

— Прокось!!! Ради тридцати святых угольников...

— А может, их было совсем не тридцать, и вообще они были раскольники, а? Зам откровенно наслаждался, лицо порозовело слегка. Его понять можно. Он мог царственным жестом даровать мне (на время, разумеется) одну из своих самых лучших жемчужин.

— Бери любую хоть сейчас. Читай.

Я схватил «Пять столетий тайной войны». Нет, уж что-что, а книги-то зам любил. Причем совсем не потребительской любовью, он собирал, точнее, отбирал книги необычные, по-настоящему интересные. У него были книжки, которые теперь днем с огнем не найдешь. И исторические монографии. А когда я подарил ему графа Салиаса (купил в Москве в букинистическом), он за мной месяц ходил, не надо ли чего...

Не то, чтобы он любил этого Салиаса, он читал о нем, но найти его не мог. И уж, конечно, не сюсюкающая дамскодворянская литература привлекала его. На мой взгляд, он делал так. Ложился на диванчик и потихонечку, продираясь через «фиты», «ижицы», «яти» и «еры», впитывал в себя страницу-две. И перед ним мелькали плюмажи и кареты, шлейфы и пажи, прекрасная незнакомка в черном домино (разумеется, испанка и, разумеется, с веером из слоновой кости) — короче, вся эта блестящая, воздушная жизнь, далекая от него и чуждая ему, человеку иного времени. У него была своя жизнь, и он ею гор-

дился, хотя трудностей и невзгод выпало на его долю с избытком. Детство зама пришлось как раз на гражданскую войну и разруху, а перед этим была еще германская.

Ну что ж, каждому свое.

Я, например, в пятом классе взял «Гаргантюа и Пантагрюэль». Сначала меня привлекли картинки в этой прекрасной изданной книге. Потом я увлекся...

Я дочитал до пиршества гигантов и стал читать дальше. Переживший голодное военное детство, я зримо себе представлял всех этих быков на вертелах, бочки пряного соуса так зримо, что появлялись даже подобия вкусовых ощущений. Нас было пятеро у мамы. Когда отец ушел на фронт, старшей шел двенадцатый, а мне было полтора. Так вот, мама работала в минзаге на полставки и не было у нас коровы. Пять гавриков и полставки. И ничего, выжили. И было маме тогда неполных тридцать один. Постарела она всего за семь месяцев, как пришла бумага. Пока еще было что продавать по деревням за продукты, жили. Была надежда на отцовский аттестат, что будет он нам идти до конца войны. А пошла пенсия вместо аттестата. Пенсия-то не ахти — что могут дать за лейтенанта? И эту пенсию мама разделила пополам — свекровь и свекор были уже преклонного возраста и жили несколько не лучше нас: у них даже пол был земляной. Люди моего возраста и старше помнят еще земляные полы и это-то в условиях Сибири. Впрочем я отвлекся. Так вот, как я уже говорил, зам — книголюб настоящий, и у него, наверное, тоже шла борьба: дать эту книгу или самому ее съесть.

— Да ты садись. Похудел-то как за сессию...

— Ага, попитайся каменными пирожками и сдай три экзамена и шесть зачетов за двадцать дней.

— Заниматься надо дома. Систематически. Тогда на сессию будешь ездить как на развлечение. Кстати, — вдруг повернул круто, — про Марково... Ты что, заинтересовался коммуной?

— Ну откуда ты взял, Прокопич?

— А письмо Фрола Клинцева... Я как увидел на столе шефа это письмо, так сразу все понял. Дело хорошее, но напрасное. Виновные в убийстве коммунаров осуждены еще тогда, в тридцатом. Дело давным-давно закрыто. Чего тут эксгумировать?

— Да с чего ты взял? У меня ведь могут быть с Фролом и другие темы. Напри-

мер, фронтовые эпизоды, — уклончиво я сказал. Зам помолчал, глядя на меня задумчиво.

— Недельки полторы назад ездил я в Марково. А у них как раз день полочки в колхозе. Народу собралось в конторе — тьма. Ну и зашел разговор о Клинцовых, я и сказал, что дело это безнадежное — ворошить старое. Не обижайся, но я так считаю. Ведь никого уже не осталось, кто бы мог пролить свет...

— Никого? — разозлился я. — Ты так считаешь? А это что? — и сунул ему под нос анонимку с угрозой. Он долго, словно там было не семь, а семьдесят семь слов, читал ее, пожал плечами и как-то растерянно усмехнулся:

— Это чья-то глупая шутка. Кто-то из ребят пошутил...

— Ничего себе шуточка! — вспыхнул я. — Послушай, а кто был тогда, когда ты говорил о Клинцовых и обо мне?

— Разве же я всех упомяну... Рукавин Митька был, Париков Гошка, Елизаров, Блатин...

— Стой! Кто Блатин?

— Да Максим!

— А-а-а... — вроде бы разочарованно протянул я. — Ну и дальше. Кто еще мог «пошутить»?

Он перечислял людей. Газетчик, долго работающий в районе, обычно знает почти всех людей в любом колхозе. А я тыкал сигаретой в спичку, и сигарета никак не желала попадать в пламя.

Дело в том, что этот самый Блатин, здоровенный мужик лет под пятьдесят, баянист и балагур, один из самых заядлых работников, три года подряд завоевывавший чемпионскую ленту на районных конкурсах пахарей, отличный знаток всей мыслимой и немыслимой сельскохозяйственной техники, золото-человек — этот самый Максим Блатин, как сказал мне в свое время Болдырев, был женат на единственной дочери Климуса Ермолаевича Ряшенцева.

2

Мы сидели в кабинете главного экономиста. Сегодня в конторе шла балансовая комиссия, и Болдырев послал вместо себя свою заместительницу под предлогом, что она работает всего год после окончания института, пусть набирается самостоятельных навыков. Повод был блестящий.

— Нет, не умные мы с тобой люди, Пантелей, — говорил озабоченно Болдырев. — Не так надо было нам.

— А как? Подключить милицию? А какие у нас доказательства? Да нас засмеют и будут тысячу раз правы!

— Но ведь у тебя же есть запись расказа Заикина. Это — не документ?

— Какой на дворе год после Октябрьской революции? А? И ты думаешь, кто-то будет расследовать преступления, совершенные пять с лишним десятков лет назад человеком, которому теперь за восемьдесят? А где гуманность?

— А черт его знает, — устало он махнул рукой. — Только не надо про гуманность. Они тогда не думали о ней, об этой гуманности. Я как вспомню все, что было, у меня вот тут все колом встает от ненависти.

Он немножко помолчал, остыл малость.

— А этот Заикин, он согласен давать показания против Ряшенцева?

— Сказал — в любое время и с удовольствием. Он теперь чист, видите ли, и хочет отмщения. Готов сам «привести приговор в исполнение».

— Ну это и без него обойдутся. Вот что, — вдруг он оживился, проговорил отрывистым шепотом: — Сегодня пятница? Так вот, по пятницам Ряшенцев всегда приезжает с пасеки в баню. Понял?

— При чем здесь баня?

— При том, Пантелей, что баня есть баня... А ты послушай, что я тебе скажу. Не суетись и не перебивай. Я еще не доказал. Так вот, он приезжает в баню. И моется всегда последним. У Блатиных старшие разъехались, а двойняшки в пионерлагере. Значит, сначала будут мыться Максим с женой. А ты знаешь, сколько они моются? По два часа парятся да хлещутся.

— Во! — усмехнулся. — Все знаешь: даже можешь прохронометрировать, сколько моются в бане дочь и зять бывшего анненковского подручного.

— Бывшего или не бывшего — это еще надо доказать. Ты вот дослушай. Я живу дом в дом с Блатиными. А дом этот Клима, Максим его только подновил и расширил.

А вот это был уже сюрприз.

— Значит, мы сможем посидеть пока у вас, а как только Блатины уйдут в баню, я нанесу визит вежливости Ряшенцеву?

Но что я ему скажу? Надо до мельчайших деталей продумать, чтобы ко всему быть готовым.

— Доставай, Николай Владимирович, бумагу и черти мне во всех подробностях квартиру: где стол, где печка, зеркало, двери. Кухню — особенно тщательно.

Рядом с летней кухней Болдыревых через штакетник был лаз-переход в ограду Блатиных. Справа от лаза — баня. Прямо — крыльцо. И всего-то метров десять. Удобно. И видно все хорошо.

Блатины вернулись из кино. Дед закончил топить баню, ходил по двору, то в баню, то в летнюю кухню, то в дом. Эх, жаль, мы не знали, что Блатины в кино. Две серии! Идеальные условия для разговора! А мы их прозевали.

Блатины вошли в баню. Свет в предбаннике погас, и загорелась лампочка в самой бане. В освещенном оконце показалась голая рука, задвинула красную занавеску, окошко стало походить на раскаленный кирпич.

— Пора! — выдохнул Болдырев.

Было тихо в селе, только где-то на Чагыре девичьи голоса выводили песню о тихом омуте, который пугает глубинами и не дает доплыть до счастья.

«Здравствуй, Пантелей Степанович! Вот решил тебе черкнуть еще. Разные думы в голову лезут. Все думаю, удастся ли тебе.

Я в тот раз тебе писал и не написал вот про что. Когда убили Блатина Ваську, сразу допрашивали Сергея Воробьева. И на меня приходил запрос сюда, на завод.

Я тогда не понял, в чем дело. А когда Воробьев прислал мне письмо об этой истории, тогда я прямо подумал — они все знают. Вот мне интересно, почему следственные органы в то время не занялись этим делом?

Конечно, убийц уже нет в живых. Но в Маркове есть люди, которые все знают, это точно. В особенности Блатины. Года четыре назад я был в Марково. Гостил у Алексея Прохорыча Шерстнева, зять Блатиных, мне он вроде дружка детства приходится. Сидели, разговаривали. Я и спрашиваю: а почему, мол, был запрос на меня в Ташкент? Жена Алексея сразу с лица сменилась и говорит: это по ошибке. Потом жена ушла спать, а мы еще сидели с Алексеем. Он заскорчегал зубами и говорит: эх, Фрол, Фрол, пострадали твои родители. Мне кажется, он знает, но сказать не решается. А зять Ряшенцева Николай Ермаков письмо присылал. Обещал даже приехать. А писал я ему на мать, он жил у Ряшенцева в доме, а письма мои на мать получал. Так и не приехал. Я думаю, он знал, а же-

на его не пускала. Или тесть не пускал, Ряшенцев. Он, наверное, из их разговоров со временем понял все. Он, конечно, не виноват, он тогда был маленький, а узнал, когда женился, да и то поздно. Потом он куда-то уехал и потерялся где-то. А зятем к Ряшенцеву пришел Максимка Блатин, он тогда только что демобилизовался.

Вот что я припомнил тут думаячи об этой истории. А этот Васька Блатин был сторож сельпо. И убили его в пятьдесят четвертом. У него, у Васьки Блатина, есть еще брат старший, отец Максима, сейчас вроде пасечником работает, если жив еще. Или на пенсии.

Вот и все, Пантелей Степанович. Черкни, как съездил в Тайшет. Нашел ли? Черкни, душа изболелась.

С приветом Фрол Клинов. А жена у Шерстнева — младшая сестра жены Ряшенцева, умершей».

5

Я стоял с полминуты, войдя без стука и приветствий.

Он смотрел в темное окно, постукивая пальцами по хорошо выскобленной столешнице.

Редко где сохранились такие столы без клеенок и скатертей, со столешницей чуть не в два вершка толщиной. Любит Рыжий, наверное, плотно поесть за таким вот свежесвыскобленным столом, пахнущим деревом, лесом, природой. На нем он, должно быть, и писал анонимку.

Стол был придвинут прямо к окну. Рыжий сидел лицом к двери, но смотрел в окно. Наверное, был занят мыслями, раз не заметил, как я вошел в открытую дверь из сеней, отодвинув цветастую занавеску.

Напротив окна и стояла печь, чело ее было в кухне, а весь корпус во второй комнате, дверь в которую (вернее, портьера в дверном проеме) была как раз на полпути между порогом и печью. За печью белела занавеской дверь в комнату. Должно быть, это четвертая комната, потому что за комнатой слева от меня неминусом должна быть спальня. Типичный деревенский дом среднего стандарта.

А Ряшенцев все молчит и смотрит в темное окно. Пальцы его барабанят по столу что-то маршеобразное. Секунду прислушиваюсь и узнаю «Старинный егерский марш» (я перерыл гору литературы об Анненкове и знаю, что тот любил только два марша — «Прощание славянки» и «Старинный егерский»). В каком году, в каком времени,

вокруг каких мест витает Рыжий своими мыслями под эту барабанную дробь?

Я стоял не шевелясь. Он медленно отвел взгляд от окна и прямо, в упор глянул на меня. Нас разделяли каких-нибудь два метра.

Я уже успокоился от возбуждения и свыкся с обстановкой, эти секунды были как нельзя кстати.

— Как вы собирались меня убить? Жаканом? Или сначала поколоть штыком в подпечке? — Я говорил медленно, очень медленно, почти по слогам.

Лицо его ничуть не дрогнуло. Только плотнее сжались губы, и на скулах четче обозначились желваки, отчего борода стала несколько шире.

— Чо мелешь, паря? Пьян?

— Трезв! Меня зовут Пантелей. Я из редакции. Вы обещали, что мне будет то же, что и Клиновым.

При упоминании этой фамилии брови его стали напирать на глаза, а взгляд потемнел, приобрел какой-то молодой окрас, теперь его выцветшие глаза состояли из одних зрачков, больших и темных.

— Вам передает привет командир полка Краевский...

Рука его сползла к краю стола и ухватилась за угол, вторая продолжала выбивать дробь.

Вам передают привет все, кого вы убили в Омске, Семипалатинске, Лепсинском уезде...

Рука под синей рубашкой напряглась, он собирался встать.

— Вам передают привет зарубленные солдаты бригады генерала Ярушина. Растрелянные в камышах под Уч-Аралом...

— Ты не можешь этого знать, — от его сибирского акцента не осталось и следа. Голос твердый, со свинцом. Но интонация... Он явно растерян. Явно!

Я делаю несколько шагов и становлюсь спиной к печи и лицом к столу и окну. Рыжему, чтобы выскочить, надо протиснуться между мной и столом, но тут всего с полметра.

Теперь он, вывернув голову вбок, смотрит на меня снизу вверх. Брови не вскинул, вскинул подбородок, по-офицерски. Ждет. Не может совладать с собой? Тянет время?

Говорю медленно, как и раньше, очень медленно, вдавливая фразы, бесцветным голосом, бесстрастно. Не знаю, что говорят мои глаза, но интонация не говорит ничего. Говорю, как робот. Наивная психологическая штучка, но иногда она дает прекрасный психологический эффект.

— А еще вам привет от перевала Сельке. И от «Орлиного гнезда» и селенья Чулак. И последний привет — от озера Ала-Куль, помните? И от Митьки Заикина тоже! — шепотом, почти шепотом говорю. Он вздрагивает, отводит взгляд и спокойно опускает руку в карман. Нож? Весь напрягаюсь, готовый ко всему. Но он достает допотопный пластмассовый портсигар с волнистой крышкой, вытаскивает оттуда тоненькую папиросу. «Прибой»? Нет, «Север». Пока он прикуривает, я, быстро стрельнув взглядом вправо, успеваю в про свете между портьерами заметить в другой комнате диван, над ним ковер, а на нем два кинжала в посеребренных ножнах. И ружье.

— Митька Заикин давно мертв. — Голос его тверд. — А у Анненкова я работал по заданию наших...

— Каких «наших»? Белых? Красных? Эта сказочка теперь лопнула! — Я говорю не очень медленно, и не потому, что так отрепетировано, я чувствую, что выпустил какую-то нить из рук. Какую? Неужели это не он писал анонимку? Неужели не он? Тогда понятно, почему он спокоен. И я спешу. Я злюсь. А этого нельзя допускать.

— Митька не мертв! На перроне в тридцатом это свистел вам вслед?

— Этого не было... — Он пускает дым через нос, пускает осторожно, медленно выдыхая. Дым путается в бороде.

— Митька отсидел и вышел. Он все помнит. У него шрам на лице. Это тоже Ала-Куль. Вы, Ряшенцев, тогда не обозначились. Это он свистел вам вслед на перроне, а вы драпали в своей борчатке и белых бурках.

Взгляд его прищуренный и оценивающий.

— Он искал вас после войны, освободившись. Сегодня, вот сейчас он пьет чай в моей квартире в Крутоярово. И если я его привезу сюда...

Он усмехнулся, не поверил. Поднялся из-за стола.

— Вот что, Рыжий! Мне нужны коммунары Клинцовы. Кто был, кроме тебя?

Он опять усмехнулся. Вот нервы!

Я закуриваю, он стоит.

Что же делать? Лихорадочно думаю — где я допустил промах? Теперь уже окончательно убеждаюсь, что это не он писал анонимку. А весь расчет был на начало разговора. Теперь разговор повело в сторону.

— А Заикин... — Я сделал паузу, не отводя взгляда от его зрачков. Они темнеют

и увеличиваются, в них появляется страх. И я стараюсь доконать его. — Заикин все мне рассказал. Про Славгород. Про учительницу, которую вы ему «подарили». Мало? Про то, как вы ему сыромятные ремни на ногах перерезали, когда его красные захватили. Как он убил тогда старого врача. Про Краевского. Убедились теперь, что он жив?

— Клинцовыми, значит, интересуешься? — Он как-то подобрался весь, стал пружинистее, что ли. — Клинцовых мы с Пасечником...

— С каким пасечником? Где он сейчас?

— У меня есть фотография, — скороговоркой произносит он и неожиданно бочком-бочком протискивается в другую комнату.

Я и глазом моргнуть не успел, как все это произошло.

Теперь он может заорать, разбить окно. Сюда набегут. И все пропало.

Но он не сделал ни того, ни другого. Он сорвал со стены ружье и слегка отодвинул портьеру.

— Вот теперь, казачок, мы с тобой поговорим. — Голос его звучал издевательски, злорадно. — Я расскажу тебе про Клинцовых. Только ты уж никому не сможешь этого передать.

Щелкнули два взведенных курка. Я не шевелился.

— Мы их кокнули. Я и Васька Блатин. Третьего теперь тебе не надо. Он тово... Переселился. Как и Васька Блатин. Пасечник жив. А Клинцовых — за дело. Первыми в стадо жить пошли. Жалею сейчас, что долго ждал. Надеялся, что рухнете. Надо было каждый месяц вам такие праздники устраивать.

Он рассмеялся. Коротко, зло, с явными нотками истерики.

— Я еще не то делал. То, что в войну на дезертиров сваливали, делал я. Мало делал. Если б Васька в бога не ударился! Но Васьки теперь нету. Двадцать лет нету, а с Пасечником мы еще поработаем. У тебя сынишка в пятый класс ходит? Беленький такой, да?

Он снова расхохотался. Смех был болезненный. А я представил на теле моего Старика семнадцать колотых ран, и знакомая, тянущая боль, чуть пониже и левее ложечки, начала сгибать меня. Я примерил расстояние — едва упасть и ногой снизу подбить стволы вверх. Но у такого головореза могла сохраниться реакция — он ведь особенно-то не изболелся, хоть и стар.

Но я слишком много рассуждал про се-

бя, прислушивался к своей боли. И опоздал.

— Два шага вправо! Лицом ко мне! Стоять между мной и окном!

В напряженной тишине раздался тройной энергичный стук в окно. Я резко повернул голову и успел заметить, что раскаленный кирпич банного оконца погас, свет вырывается сквозь неплотно прикрытую дверь предбанника.

И в это время раздаются два щелчка — один за другим.

Остолбенение. И какая-то секундная растерянность. Я никак не мог сообразить, что же это — двойная осечка или ружье вообще заряжено не было, а висело на ковре для антуража. Этого я так и не узнал.

Рыжий же совершенно спокойно уселся на стул, слегка поерзал на нем, находя удобства для своего сидалища, поставил ружье между ног, скрипуче хохотнул и заговорил неожиданно ясным, чистым и совсем не злобным голосом. Почти по-отечески, словно бы ему даже, знаете ли, обидно стало за мою тупоголовость, за такие мои ошибки, за совершенно напрасно затраченные усилия. Говорил с нажимом:

— Ну, казачок, насмешил. Ну насмешил. Что Митька жив — верю. Недорубил тогда, ах недорубил. Но Митька не в твоих руках. А то бы ты его, казачок, притащил бы ко мне. Амнистия белым вышла когда? Папа твой еще, наверное, только по девкам бегать начал тогда. Понял, казачок? Кто возьмется за суд надо мной? А? То-то! Я вот тебе все как на духу расскажу. Подробно расскажу. А только ведь не поверят тебе. Скажут, свихнулся старик Ряшенцев да и только. Так и Митькины рассказы... Кто им поверит?

Пусть и раскопал ты что-то. Про тридцатые годы. Про мои делшки. Н-да... Только ведь доказать-то не сможешь. Ничего! Рыжий следов никогда не оставлял! Вот так-то, казачок!

Столкни нас с Митькой. Нос к носу. Хоть на сцене. Пусть хоть тыща будет при встрече. А я ведь откажусь, казачок. Да и кому верить? Он беляком был. Да в тюрьме сидел потом полжизни. Говоришь, в штрафбате воевал. Кто ж ему поверит? А я по заданию наших политорганов у Анненкова был. Председателем сельсовета много лет работал, потом пасечником по состоянию здоровья. У меня и бумаги все хранятся. А уж грамот за труд — однакось, сотня наберется.

Так вот, казачок. Так. Ты против меня — словами никому неизвестного Митьки. Бе-

ляка, зэка, штрафника. А я тебя по загревку — бумагами. Бу-ма-гами! Гра-мо-тами! Да-с... И тут у нас слова лихого никто про меня не скажет.

— А Пасечник? — говорю я, чувствуя, что лечу куда-то в темь, в слякоть и ляпнусь сейчас в трясицу, из которой ни вырваться, ни утонуть в которой достаточно быстро не сумею. Но мне показалось, что интонация его стала меняться, в голосе сильнее зазвучали истерические нотки.

— Пасечник? А что он, Пасечник? — глухо сказал он. Потянулся через стол и, хотя верхнего света было достаточно, включил настольную лампу, гигантскую и безобразную. Но самое чудо в этой лампе — это абажур: прямо-таки могучая кружевная штанина от панталон какой-нибудь мясистой Розки-трактирщицы.

Эта проклятая лампа со штаниной сбילה меня с мысли, которую я хотел высказать, и я впервые понял, что проиграл. Проиграл по всем статьям. Проиграл, имея на руках флешь-рояль плюс джокер. Беспроигрышные карты оказались битыми.

Вот теперь я точно, совершенно точно знаю — не только как выглядит, но и как чувствует себя побитая собака.

Глаза его оступело уставились мне в переносицу. Теперь они снова стали бесцветными, водянистыми. Старыми. В ярком электрическом свете я вдруг увидел, что лицо его стало стремительно пухнуть. Брови и усы затопорщились, борода стала подниматься вперед, в стороны. Он все больше походил на ежа. Может, это началось раньше, просто я его тогда не видел из-за портьеры...

— Ты иди, казачок, — сказал он устало. — Иди. Мал ты еще. Ешь больше каши.

Он говорил, а взъерошенные волосы его бороды и усов щевелились как бы по отдельности, как бы сами собой, словно по ним гулял какой-то невидимый ветер.

Не обращая больше на меня внимания, он подхватил ружье, тяжело и со вздохом поднялся, шагнул за портьеру.

Я повернулся к выходу.

На крыльце Болдырев схватил меня за плечо и толкнул к лазу. Мы перескочили его в тот момент, когда открылась дверь предбанника и на резное крыльцо дома Ряшенцевых и Блатиных пал яркий четырехугольник света. Потом он погас.

Блатины прошли в дом, и там зазвучали тревожные голоса. Мы все еще стояли у лаза, шумно дыша, и мне в голову пришла мысль: а ведь это была «маска Гипократа»...

ПЯТИДЕСЯТЫЕ

Едем мы, друзья,
в дальние края...

Из песни первоцелинников

1

Первое полугодие пятьдесят четвертого в этой местности было необычным — тако-го наплыва людей край не испытывал со времен эвакуации в годы войны.

Страна переживала период подъема, начиналась целинная эпопея. Ежедневные эшелоны высаживали на станциях многочисленные толпы разномастного люда. Гремели оркестры, струился кумач знамен, флагов и транспарантов.

Среди прибывающих кого только не было!

Ехали люди, сознательно покинувшие обжитые места, теплые места где-нибудь в Поволжье, на Украине, в Ленинграде, Подмоскovie. Они составили костяк целинников. Именно они поднимали людей на распашку веками пустовавших земель, работали по двадцать четыре часа в сутки. Ехали они сюда надолго, навсегда. Поэтому почти все были сразу с семьями, со скарбом, хотя отлично понимали, что первое время придется несладко не только им, но и их женам и детям.

Довольно значительной была та часть людей, которые ехали на целину временно. И большинство их действительно уехало через несколько лет, внося и свой вклад в становление целинных хозяйств.

И, наконец, последний слой первоцелинников — самый немногочисленный, но самый горластый, — составляли люди, ехавшие сюда в надежде за короткий срок зашибить длинные деньги. Вот эти-то люди принесли целине меньше пользы, чем мороки.

В Марково отлично была видна размежевка этих слоев. Видно это было не в работе — все трудились с полной отдачей сил, за исключением двух-трех шалопаев, видна была по праздникам, когда «третий слой», как правило, устраивал шумные гульбища с нередкими драками.

Положение осложнялось еще вот чем. В Топольном, расположенном в полутора десятках километрах от Марково, в разросшемся и укрепившемся за четверть века колхозе, начали строить хлебоприемный пункт. Пункт был громаден, объем работ велик, и СМУ спецтреста не справлялось со сроками. На помощь прибыл большой от-

ряд заключенных, отбывавших самую последнюю часть своего срока. Были они расконвоированы и свободно ходили по селу, не имея лишь права выезжать за пределы Топольного.

Инцидентов между заключенными и жителями Топольного не было: заключенные отлично понимали, что только круглый идиот будет ввязываться в очередную историю буквально на пороге собственной свободы. Трения у местных парней были в основном с «третьим слоем» и со строителями из спецтреста. И те и другие были «городскими», и многие свысока поглядывали на «сибирячишек», некоторые сознательно утрировали сибирский говор, а слово «паря» в их произношении звучало чуть ли не ругательством.

К первым числам августа стали прибывать прикомандированные грузовики для перевозки первого целинного урожая, и на въезде в Топольное раскинул свои палатки воинский автомобильный батальон. Теперь в Топольном пришлых людей было намного больше, чем своих колхозников.

Шоферы-солдаты имели в Топольном особую популярность. В колхозе транспорта почти не было, и многие просили автобатовцев подкинуть то сена, то дров. Командование автобата закрывало на это глаза — ребята служили последний год, сразу же после уборки — демобилизация, но машины давали со строгим учетом и строгой дисциплиной, сразу предупредив колхозников — если хоть один шофер вернется в автобат выпивши, то машин больше не получит никто. И пока не началась вовсе уборка, шоферы автобата крепко помогли колхозникам, да и правление частенько пользовалось их услугами в делах необорочных: то подвести одинокой старушке сена, то подбросить дровишек из бора местной школе, то отвезти молодежь на районный праздник песни. Словом, шоферы автобата были полезными людьми в Топольном. С десяток их после демобилизации съездили домой и вернулись в Топольное, а двое остались сразу в селе (автобат оставил машины району, в часть возвращались только офицеры и сверхсрочники, документы демобилизованным вручались прямо в Топольном, на празднике урожая).

Осень пятьдесят четвертого года в Топольном была невиданной — в одно воскресенье справили сразу пятнадцать свадеб.

В новом, еще не сданном строителями Доме культуры прямо в зале поставили столы, за которыми и праздновали.

Председатель зачитал решение правления — пятнадцать брусковых домов, закупленных колхозом в леспромхозе, передаются молодоженам на условиях долговременной ссуды. Дальше свадьбы шли «по своим домам», а в среду на берегу Чагыра застучали молотки и топоры — молодожены начали возводить свои дома. Через месяц улица Молодоженов шумно праздновала общие «влазины».

Ночью, когда все Топольное и половина Маркова вовсю веселилась на «влазинах», в Марково был убит сторож сельповского магазина Василий Блатин.

2

Капитан Борис Никитушкин глубокой ночью вернулся из краевого центра, там он был на утверждении — его брали начальником милиции в один из городов. Городок, предназначенный ему, всегда был его мечтой — железнодорожная станция недалеко от краевого центра, нешумный рядом лес, река. Да и должность была майорской.

Едва только он, умывшись с дальней дороги, приклонил голову к подушке, как зазвонил телефон. Никитушкин должен был завтра сдавать дела заместителю, а тут как на беду — убийство! Первое в районе убийство за все послевоенное время.

Шел седьмой час утра, когда райотделовский «додж-три четверти», чудом сохранившийся с войны, латаный-перелатаный, уже вез группу людей в Марково.

Прошла неделя, а дело не продвинулось ни на миллиметр. Почти весь отдел был брошен на расследование, буквально каждый в Топольном и Марково, будь он местный, целинник или солдат, заключенный или просто приезжий гость, был опрошен. Работа была проделана гигантская, но сколько-нибудь достоверной версии Никитушкин так и не выстроил, не было ниточки. А в начале второй недели ему позвонили из управления и приказали немедленно передать дела. Скрепя сердце, тот подчинился.

Заместитель приложил максимум усилий. Были вызваны специалисты, но и они оказались бессильными. Дело «повисло» — улики не было, следов тоже. С горькой иронией заместитель думал, что проклятый случай в Марково опровергает еще в университете усвоенную истину, что преступлений без следов не бывает и что первое же дело, которое ему выпало на посту начальника Крутойровского отдела милиции, оказалось таким заковыристым.

...Ранним утром группа доярок шла на работу. В холодном октябрьском воздухе далеко разносились их голоса и хруст утренних льдинок под сапогами, звуки шагов по прихваченной заморозком земле. Поравнявшись с сельповским магазином, бабы увидели, что сторож Василий спит, прикрыв голову широким воротом тулупа. Он полулежал, прислонившись к тарным ящикам и приобняв ружье, которое — и об этом в селе знали даже пацаны — давным-давно не стреляло.

Молодые бабы пошептались, и пока старые стояли в сторонке, улыбочиво качая головами, полукругом окружили старика и хором крикнули:

— Дядь Вася! Пожар!

Сторож и не думал шевельнуться. Одна из доярок потянула его за полу тулупа, он сполз на землю, продолжая лежать на правом боку и обнимать винтовку. Руки его так и остались кольцом в рукаве тулупа, а в кольце — винтовка.

Самая смешная схватила его за ворот и встряхнула. Голова старика свалилась вправо, и бабам открылась неширокая рваная рана в виске и полоса крови, спускавшаяся от нее по щеке на шею и за воротник тулупа.

Лицо сторожа было безмятежным, как будто он только что разговаривал с кем-то из своих приятелей, а кожа оказалась ледяной.

Догадливый председатель сразу же, как только к нему прибежали испуганные женщины, распорядился поставить караул вокруг магазина из парней, и те заворачивали всех пешеходов и машины на параллельную улицу. Кроме доярок, таким образом, никто не ступал на землю вокруг магазина. Но приехавшим милиционерам это ничуть не помогло.

Буквально вся площадь вокруг магазина была изрыта многочисленными колеями, следами от колес машин и тракторных гусениц. К тому же вечером и ранней ночью прошел сильный, совсем не осенний дождь, который сгладил всю грязь. А морозец ночью доделал все дело. Все было смазано, сглажено, застыло — следов было много, и следов не было.

Продавщица сразу же сказала, что замок цел, контрольная подпись ее, в магазине ничего не пропало. И даже выручка двухдневная цела. Она особенно беспокоилась за выручку — ведь пятнадцать семей из Топольного делали у нее покупки в дом. Она специально ездила за товарами для новоселов. Одной только мебели привезла

одиннадцать грузовиков и сразу же расхватали. Да плюс продуктов и вина сколько! Пол, стены и потолок магазина были целы, никто в магазин не проникал — ограбление исключалось.

А зачем тогда убивать сторожа?

По мнению краевого специалиста, сторожа убил очень близкий знакомый. Поза сторожа, выражение его лица, отсутствие следов борьбы, воткнутые в рукава тулупа руки со спокойно сцепленными пальцами — все это говорило о том, что сторож мирно беседовал с кем-то, когда настиг удар, вызвавший мгновенную смерть.

Врагов же у Блатина не было. Со всеми он был одинаково ровен. Ругался, правда, с соседом и довольно часто. Но, во-первых, ссоры между соседями — не такое уж редкое явление в деревне: то курица в огород зайдет, то искры от бани летят на соседское сено, то пахал и чужой плетень задел, или смородина перевешивается через ограду, а соседские дети ее обрывают; да мало ли бывает конфликтов? А, во-вторых, соседа этого уже две недели не было дома, отдыхал он по путевке, и санаторий подтвердил, что никуда он от своих процедур не отлучался.

Личность Блатина тоже не прояснила положения. Воевал у Колчака, но был взят по мобилизации — таких было много. Был там в обозе — ремонтировал хомуты, сбрую, седла. Потом вроде сбежал, как будто скрывался. В тридцать втором вступил в колхоз. Года два спустя его растрепала лошадь, и он сломал ногу. Перелом был сложный, болел Блатин долго, но в больницу не лег. Нога срослась неправильно, и с тех пор он сильно прихрамывал. Работать после этого он стал на дому — чинил хомуты, ладил сбрую для колхозных лошадей, гнул полозья, плел корзины и пестерки из тальника — словом, делал хотя и негромкую, но очень нужную работу.

На собраниях он никогда не выступал ни с критикой, ни с одобрением, но всегда аккуратно являлся туда. С приказаниями правления и бригадиров всегда соглашался. Ни одного случая нарушения трудовой дисциплины у него за два десятка лет не было.

В войну его на фронт не взяли. Но он отвергал все предложения стать бригадиром. Его стыдили, зывали к совести, но он не сдавался. Налегал на свою хромоту, неграмотность, и от него отступились. Так и продолжал он шить хомуты, вить веревки, плести корзины, но зато в Марково за этим товаром приезжали и из других сел — мужики, которые умели делать многое, были

на фронте, по селам почти поголовно остались бабы, старики и подростки.

После войны, когда почти половина марковских женщин выходила на праздник с медалями за труд, Василий Блатин надевал лишь Георгиевский крест, полученный еще в империалистическую. Над ним никто не смеялся — солдатам такие кресты давали не за красивые глаза, а за храбрость. Значит, умел смотреть смерти в лицо Василий Блатин...

В войну Василий Блатин похоронил свою старуху, но женщину в дом не привел. Так и жил с сыном. И хотя был мужиком крепким и ладным, не льстился на солдаток и вдовушек, а недостатка в них в войну не было, кто искал — находил.

Бросил он работу в колхозе потом, подавшись сторожем в сельпо — и не пыльно, и при случае чего по-свойски прикупить можно.

В последнее время пристрастился ездить в край, ходил там в церковь, молился. Никого это не удивило — наступала глубокая старость, а в этом возрасте возможны и не такие выверты. На насмешки Василий отвечал степенно: у нас верить в бога не воспрещается, молись — хоть лоб расшиби.

Правда, его как-то публично стыдил Клим Ермолаевич Ряшенцев. Но это и не удивительно: человек, который на рубеже двадцатых и тридцатых годов несколько лет был председателем сельского Совета, хотя и не состоял в партии, и должен был выступить против своего друга. Точнее, против замашек своего друга. И хотя Клим Ермолаевич неожиданно ушел со своего поста и вот уже почти двадцать лет пасечничал в колхозе, люди помнили, что он был председателем и прислушивались к его мнению. А говорил он мало, но веско. Вот и тогда прямо при всех на собрании сказал Василию Блатину, что нужно потерять голову, чтобы под старость лет о церкви вспомнить. Был бы бог, он не допустил бы этой страшной и тяжелой войны, которую выиграли коммунисты и безбожники.

Проверяли следователи и Клима Ермолаевича. Оказалось, что в тот вечер он был в своей бане, но пробыл там недолго. Дочь и зять (сын убитого) в один голос говорили, что он пробыл в бане минут двадцать-тридцать, хотя всегда мылся-парился значительно дольше. Пришел и лег. Ему стало плохо в бане, и дочь отпаивала его валерианкой.

Следователи работали до самого нового года, и их группа потихоньку таяла. Потом вынесли решение о прекращении дела. Оно

оставалось на контроле, но все понимали, что дело стало «висящим».

В декабре в милицию поступила анонимка. В ней утверждалось, что убийство Блатина — это месть за Клинецовых. А сделать это могли или Лизавета Воробьева, что маловероятно, или ее муж Сергей Воробьев (поскольку он кузнец, у него хороший удар), или единственный оставшийся в живых из мужчин Клинецовых — Фрол, живший в Ташкенте.

Лизавету и Сергея исключили из подозреваемых — они были на «влазинах» примерно с середины дня и остались ночевать в доме председателя, дочь которого с мужем-солдатом тоже праздновала вселение в собственный дом.

Послали на ташкентский завод запрос — Фрол никуда не отлучался. О трагедии семьи Клинецовых в отделе тогда никто не подумал, не выделил анонимку в отдельное дело. А по ней можно было бы попытаться добраться до тех, кто знал или предполагал, что Василий Блатин имел какую-то связь с убийством коммунаров, раз, по предположению анонимщика, он и убит из-за этого. Но за Клинецовых осудили двадцать с лишним лет назад и возвращаться к этому — значит, ставить под сомнение выводы суда, который в свое время проходил в краевом центре.

Об анонимке в селе даже слухов не было. Сергей Воробьев, допрошенный в милиции, счел за благо помалкивать и не сказал даже своей Лизавете, чтобы не ворошить старое. А больше об анонимке в селе никто не знал. Кроме автора. Его же не искали.

Несколько лет спустя Фрол был в отпуске и пришел в крутояровскую милицию. Ему объяснили, что дело сдано в край, оставлена лишь копия, и познакомиться с письмом и почерком писавшего будет не просто.

Еще много раз другие следователи возвращались к делу об убийстве сторожа, но ни одному из них фортуна не улыбнулась. Дело продолжало оставаться таким же темным, как и тем ранним октябрьским утром пятьдесят четвертого года, когда смешливые доярки нашли лежащий в удобной позе труп Василия Блатина.

СЕМИДЕСЯТЫЕ

Он чувствовал, как щеки вдруг стали не его, а веки потяжелели. Зачесались брови, борода и усы. Ноги сделались ватными. С большим трудом он встал, повесил ружье

на ковер. Дышать становилось все труднее.

Он лег на диван и сложил руки на животе. Но то одна, то другая соскальзывали. И тогда он подумал, что уж не слушается хозяина его тело, что скорее всего смерть на пороге. Подтянул негнувшиеся руки на грудь, скрестил пальцы. Совсем как мертвец.

Читал он когда-то, что будто у мертвого волосы и ногти еще несколько дней растут. Даже там, в гробу. А еще болтали будто мертвец слышит два дня, что о нем говорят на похоронах...

Вошли дочь с мужем. Свежие, раскрасневшиеся, они принесли с собой запах березового веника и особый банный дух. Прошли в свою спальню. Потом раздался смачный шлепок по голому телу, и коротко и благодушно хохотнул Максимка.

И зло взяло старика на этого Максимку, сына убитого Василия Блатина. Сейчас вот поужинает, выпьет Максимка водки и ляжет в постель с его дочерью. Единственное, что у него было в жизни, у Клим — это дочь... Хотя и жили они подолгу порознь. А воспитывала ее Хромушка. Выросла дочь вежливая, незлобивая.

Эх, сына бы Климу, сына бы! Бабы, они не годятся на это дело. Ненависти у них хватает только на соперницу или на мужа. А сына он бы сумел воспитать, никому бы не доверил этого дела... Но не дал бог сына Климу, не дал. И это самый крупный удар для Рыжего. Некому передать его знания-умения работать по-анненковски, не в кого перелить переполнявшую его ненависть. Уже нутро все сожгло эта ненависть, все нутро сожгло бессилие. И старость. Так и не увидит он своих последователей. Нету их.

Многие есть недовольные. Но все брюзжат да сплетничают. То, дескать, мяса нет в магазине, то ситца не достанешь, то тотто тащит со склада, а этот берет по блату. Но все эти недовольные так и не возненавидели самое главное. Самое главное, что так ненавидел всю свою жизнь Клим, — систему.

И если что, то эти самые недовольные, которые сегодня брюзжат да плачутся друг другу в жилетку, сразу же станут на защиту этой системы, которую так ненавидит он, Клим Ермолаевич Ряшенцев.

Как же, тут им и медицина бесплатно, и школы бесплатно, и даже пенсии, понимаете ли, им дают, быдлу мерзопакостному. А вот кабы знал бы он, такой, что за малейшую провинность окажется за воротами, где на его место десять, двадцать,

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXXII

№ 1 (91) 1980

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- Павел БЕСЧЕТНОВ. Скажи, если успеешь. Роман. Окончание 4
И. ЛАГРАНСКИЙ. Неудобный человек. Рассказ 57

ПОЭЗИЯ

- Аржан АДАРОВ. Ленин и солнце. Стихи 3
Марк ЮДАЛЕВИЧ. На перевалах бытия. Стихи 54
Николай ЧЕРКАСОВ. Формула любви. Стихи 64
Людмила КОЗЛОВА. Живу я трудно, но счастливо. Стихи 67

К 250-ЛЕТИЮ БАРНАУЛА

- Владимир ГАЛИЦКИЙ. Далеко от войны 69

КРИТИКА

- Виталий ШЕВЧЕНКО. Душевной зрелости примета 83

ИСКУССТВО

- Ю. СОРОКИН. Хлеб Сибири — тема художников 86

сто страждущих да жаждающих получить работу, вот тогда-то и гнулся бы он в поклоне Климу Ермолаичу, корячил бы свой неумытый рот в улыбке да в глаза побольше искр подсыпал бы. А сейчас — эх!..

Всем хорош был первый зять, Николка Ермаков. Тихий, спокойный, работающий. Как хороший батрак. И во всем соглашался с ним, с тестем. Надеялся Клим со временем и его пристегнуть к своей упряжке. Раз бог сына не дал.

Ряшенцев со злой радостью отмечал все прорехи в колхозе. А прочесть критический материал в центральной газете — для него это было величайшее счастье: значит, не только тут прорехи, кругом есть эти прорехи, и хорошо, что они есть, хорошо... Он и газеты-то выписывал, только чтоб прочесть фельетон о бесхозяйственности или сообщение из зала суда. И-е-эх, что за денечки были у него, когда пошли предвоенные процессы, что это были за разлюлиденечки! «Змея сама себя с хвоста сжирает!» Когда после войны налоги возросли, Клим Ряшенцев потирает руки: хоть на старости лет он увидит крах этой системы, хоть на старости!

Но годы шли, а крах не приходил. Мало того, стали жить лучше. А сейчас и говорить нечего. Через двор — мотоцикл, через два — машина. У всех приемники, телевизоры, холодильники, а стиральные машины в магазинах навалом навалены — ешь, не хочу. Недоросшие школьники, свистенята, и те ходят по-господски, с часами да галстуками. Нет, не суждено Климу увидеть крах системы, не суждено.

И с Николкой ничего не вышло, с Ермаковым. Как же это Клим опростоволосился тогда? Все пошло насмарку, все! И из-за одной непростительной ошибки...

Умирала Аграфена. Умирала его жена, с которой он прожил больше четверти века. И хотя он в грош ее не ставил, все же было муторно. Не то, чтобы жалко ее или он с любовью расставался, а просто муторно: некстати это, не вовремя.

...Что-то не ладилось у Клима Ермолаевича Ряшенцева. Вот уже сколько лет прошло с тех пор, как они поджарили тех коммунаров. Думалось тогда, придет Савка Кудлатый, это ведь ему сигнал был — есть, мол, кому тебя поддержать. Прошелся бы по округе, пожег кое-кого, пострелял, посек. Глядишь — и заткнулись бы с этими коммунами. А там бы весть полетела дальше — мало ли тогда нашего брата было? Вылезли бы из всех дыр, подхватили старое знамя, выхватили бы шашки из ножен. Это в

России у них там голытьба да помещики, а здесь, в Сибири, кто хотел жить хорошо, тот и жил хорошо. Земли полно, бери. Только не забывай, кто тебе ее дал...

А так хорошо бы было — крепкие хозяйства, а не какая-то голытьба, определяли бы лицо Сибири. Не зря же еще отец говорил, что Сибирь — величайшая штука, рано или поздно она станет костяком России.

Но Савка не пришел. Его в горах обложили, как волка. Там так и сдох. Тогда и ушел Клим Ермолаевич Ряшенцев с поста председателя сельсовета. Когда-то еще новый Савка объявится?.. Да и пасечником легче свои делишки обделывать.

А Аграфена... Что Аграфена? Красавица, но... хромая. Как курица, ни пойти, ни поплясать, ни помочь. Так всю жизнь бы без мужика и прожила, если б не доброта Клима Ряшенцева. Взял ведь в жены на удивление всей деревни! Такой орел, такой буян-мужик, от одного взгляда бабы тают, а полетился на какую-то Хромушку, господи прости...

Хромушка поняла, что жизнь ее — в угождении Климу. И Клим в ее жизни стал всем. Она даже слезу пускала от счастья, когда он, усталый, давал ей снимать сапог. Она мылила и мыла его в бане, терла и поливала водой, а он только переворачивался с живота на бок, да с боку на спину. Она нюхала и прижимала к себе перед стиркой его нательные рубахи, пропахшие крутым мужским потом.

За Климом она и свет-то увидела. А то всю жизнь была поганкой. Ребятишки бегают, играют, а она сидит на завалинке. Парни с девками воловоятся, визжат, пляшут под гармошку, а она в сторонке. Девки с парнями работают на сенокосе, бегают, купаются, подглядывают друг за другом, перекликаясь через заросли — а она варит у своего шалаша, варит да плачет.

Заболела мать, и Аграфена приговорила веревку для себя. Отца убили белые, мать жила бедно и, разозлясь, попрекала Аграфену хромотой. Та молчала и плакала. К матери ночами ходили мужики — кто полмешка овса принесет, кто шмат сала. Мать их всех принимала, загоняя Аграфену на печку. Хромушка слушала вздохи и скрипы, и ей было страшно, стыдно и пакостно. Она научилась плакать беззвучно.

Но вот мать умерла. Аграфена решила похоронить ее и задавиться. Надела лучшее платье. Нашла оставшуюся от поминок бутылку самогона. Зарубила петуха. Выпила, задохнулась. Стало весело, горько и отчаянно. Съела две пегушинные ножки, попела

за столом в одиночестве, поплакала, представляла, какая бы жизнь ей была, если бы не была она хромой... Встала и приладила к кольцу в матке посередине избы, к которому когда-то подвешивали ее люльку, к этому кольцу приладила веревку с петлей. В это время и вошел Клим.

Так и жизнь пошла, не жизнь, а счастье полное. Она по хозяйству крутилась, Климу угождала, ждала его в нетерпении. Бабы говорили, что у Климана много женщин, она отмахивалась — пусть, раз ему надо; я ведь хромая, куда я без Климушки.

Часто он по ночам возвращался в прожженном тулупе, а то и в крови иногда. Говорил, что с бандой схватывались, дескать. Она никогда не спрашивала — это его дело, дело Климушки.

Родилась дочка. Свет-красавица. И этой же весной Клим, подпив, рассказал ей, что участвовал в убийстве Клинецовых, что теперь они связаны одной веревочкой, куда более крепкой, чем семья. Заберут его, пойдут и она. Она испугалась.

Но еще больше испугалась, если Клим уйдет, если она вдруг когда-нибудь что-то не так сделает, уйдет и возьмет с собой дочку. А куда она? В петлю?

Вот и война кончилась, и дочка уж третий год замужем. Зять Кольша Ермаков — хороший мужик. А детей у них нет. Вот и решила Аграфена, как бабки подсказали, насвятить святой водички да окропить их, в постели спящих, ночью. Только воду ту надо брать из проруби, где все вместе жеребцы и кобылы пьют, ровно в полночь.

Долго ночами высматривала Хромушка с бугорка лошадей у широкой проруби да и высмотрела: пили вместе вороной жеребец, красавец с точеными ногами, и кобылка с белыми бабками. А может, и показалось при зимней дуне Аграфене, уж больно долго она желала этой сцены. И пошла этой ночью Аграфена со жбанчиком за водой к проруби.

Уж и водички зачерпнула, которую святить надо сегодня же у бабки. Да заторопилась и скользнула хромой ногой в прорубь. Мелко здесь было, по грудь ей всего, и течение не очень сильное, а часа полтора провозилась Хромушка, пока вылезла. Кричать не стала — надо, чтобы никто не видел, как воду берешь, иначе семья не замутится, и ребенчишка не будет.

Пока домой доковыляла, жакетка и платье в локтях сломались, мерзлые. Вытерлась, отдрожалась, переделалась — и к бабке. Насвятила воду да побрызгала на Кольшу с дочкой. Так они лежали, так ле-

жали. Как брызнула Аграфена, Кольша вздрогнул и губами во сне пошлепал, а дочь потянулась и заулыбалась во сне. Ну вот, все теперь, слава богу, в порядке. Теперь и внуков ждать можно.

Утром она не встала. Под вечер приехал Клим. Засуетился, хотел везти в Крутоярово, она запретила. Хоть и спасли ее тогда в Крутоярово, когда она рожала, дочку через живот вынули, а только дважды бог счастья не дает. Видно, на роду так написано.

К вечеру второго дня она на минутку пришла в сознание, запросила пить. Дочка со скотиной убиралась, а зять только что вошел, с работы вернулся. Его Клим и погнался за водой на кухню.

А она, подняв на Климана горячие, блестящие, прекрасные глаза, вдруг сказала громко и внятно:

— Ты уж, Климушка, не говори дочке с зятем, что Клинецовых-то порешил. Не говори и про остальных...

Клим обернулся — на пороге стоял Кольша с ковшом воды. Вид у него был испуганный.

— Турусит она! — Быстро и жестко сказал Клим. — Бред у нее и жар. Турусит! Заговаривается!

Но Кольша посмотрел на него недоверчиво. А Аграфена уже закрыла глаза. Две слезинки скатились у нее по щекам. Быстрые, маленькие и прозрачные.

Так вот и слепая любовь бывает хуже преступления...

А через пару недель после похорон Аграфены увез Клим Кольшу на курсы трактористов. Но с курсов Кольша не вернулся.

Клим Ермолаевич сейчас не жалеет об этом, лежа на диване. Жалеет, что позволил Максимке Блатину в дом войти. Думал, он как его отец будет. А он — погладиться не дается. Сколько раз подъезжал к нему Ряшенцев, а все чувствовал — нет, не пойдет Максимка на это. Не отец. Не Васька Блатин. Еще и выдать может.

А отец его, Васька, блажной какой-то стал. К попам ездить начал. Так и проговориться мог. Пришлось его успокоить...

Все разваливалось у Климана Рыжего. Остался один Пасечник, да и тот трусит на глаза появляться. Тоже хочет отойти в стонку.

Был когда-то Клим Рыжий орлом! Был! Носился с шашкой, как молния. И немцев в империалистическую, и красных позже, в гражданскую, бил. Вкладывал, сколько надо. От Омска и до китайской границы в

Семиречьи гулял Клим. Пистолет Клима хозяином был здесь. И не жалеет сейчас Клим Ряшенцев об этом. Было бы здоровье и молодость, снова бы начал. Великую ошибку допустил Клим, что стал выжидать. Надо было действовать — бить, рубить, резать, жечь.

Старик на диване заскрипел зубами.

Надо было! Мало побито! Мало пожжено и посечено! Теперь вот силы нету, и шашку в руках, должно быть, не удержать... Эх!..

И представилось старику, что снова он в седле, что снова пылают амбары голытьбы. Прочь с дороги, скоты! Клим Рыжий во главе отряда мчится. Пррро-о-очь!

Что-то тенькнуло в левой стороне головы, и сразу по всей правой руке и ноге, по плечу и боку справа прошла дрожь, невыносимая горячая дрожь, словно тысячи микроскопических отрядиков микроскопического Клима Рыжего топтали, били, рубили, кололи, жгли и простреливали его вены, его жилы, продырявливали его внутренности и кости.

Ряшенцев задохнулся от этой дикой боли. Это голытьба его мучит, голытьба... Прочь, скоты, прочь! Засеку-у-у!

И вот уже в его руках сверкающий клинок, и он мчится в эту грязную толпу скотов. Прочь с дороги!

Старик вскрикнул, замычал и свалился набок с дивана. Максим подбежал, поднял его все еще тяжелое тело, уложил на диван.

— Тять! Что с тобой, тять? — Дочь заплакала, глядя на перекошенный рот отца, на текущую изо рта жидкость, на плетью повисшую правую руку.

А Клим все громил голытьбу. Выстраивал всех красных и рубил. Рубил с наслаждением.

Р-раз! И человек — в капусту! Только глаз взлетает вверх, белый мертвый глаз. Р-раз! И еще один глаз взлетает вверх. Вот их уже сотни, вот тысяча. Они кружатся над Климом, как стая бабочек-капустниц, эти белые мертвые глаза. И все сильнее их кружение, все сильнее. Они сливаются в один белый круг. Белый круг.. Это же зрачок! Зрачок на черном глазном яблоке в обрамлении белых и длинных ресниц. И этот зрачок смотрит ему в душу, смотрит беспощадно и давяще, как смотрит наклоненный ствол тяжелого орудия.

В самом низу черного яблока под белым зрачком собирается голубая слеза. Шарик слезы растет, растет, потом вытягивается вниз и падает.

У-ах! Терпеть невозможно эту боль! Слеза прожгла сердце насквозь, живое сердце насквозь! Пахнет горелым человеческим сердцем...

Боже! Спаси! Набирается новый голубой шарик внизу глазного яблока под белым круглым зрачком. Белые ресницы опустились и поднялись. Шарик вытягивается. Шарик вытягивается! Он падает... У-ахх! Боже, убери эту адскую боль! Убью, кого угодно, зарежу дочь — только спаси от этой боли. Сердце дымится, в живом сердце две дымящиеся дырки, а шарик снова вытягивается, слезы падают одна за другой...

Старик корчится на диване и мычит. Максим льет воду, растирая рукой старческую грудь, поросшую редкими седыми волосками. Левые рука и нога Клима Ряшенцева неподвижны, правые — продолжают борьбу: создается впечатление, что рука хочет схватить ногу, а та уклоняется и нападает на руку сама...

И вдруг появляется младенец с ножом в горле, ему всего два дня, он еще весь морщинистый, красный и безобразный. Этот младенец растет и растет прямо на глазах. Вырастает до размеров пятиэтажного дома, и Клим со страхом глядит на него. Вытягивается гигантская красная, сморщенная пятерня. Гигант-младенец открывает безобразный рот и со словами «А помнишь?!» опускает пятерню на голову Клима, с хрустом вдавливая ее в плечи...

Вошла бабка, к которой по дороге к врачу забежала дочь Клима. С порога глянула — рука и нога Клима конвульсивно дергаются, рот перекошен, борода в сторону, один глаз закрыт, другой выпучен и безумно шарит по потолку, по стенам. Перекрестилась, указала на потолок над диваном:

— Дыру' надо пробить. Вот здесь. Душа его вылететь не может. Слишком много черного и тяжкого на ней висит.

Потом еще раз перекрестилась:

— Страшная смерть. Страшная — за грехи. Не стану я над ним читать. Пусть так идет туда. С грехами...

ЗАПИСЬ СЕДЬМАЯ

— Я не верю в то, что эту угрозу посылал тебе он. Он не станет запугивать такими писульками. Это зверь. Это не его дело. А вот Пасечник — это другое... Его-то он и привлек.

— А стол и дрожащие буквы?

— Стол? А на пасеке... Почему там нет

стола без клеенки, со скобленной столешницей?

— Слушай, Владимирыч. А что, если мы сделаем так. Ты как местный житель осторожно расспросишь почтальонку. У вас тут, по-моему, всего один почтовый ящик, на здании почты, у конторы.

— Два. Второй у СПТУ.

— Правильно, у училища, я ж его тоже видел... Понимаешь, село у вас растянутое, не каждому хочется только из-за письма тащиться в такую даль, он и отдает письмо почтальонке.

— В точку. Меня самого сколько раз просили — брось в ящик, идти неохота. Это — мысль! Может, какая из двух и запомнила, что письмо адресовано в редакцию. Не так уж часто вам пишут из Марково...

Болдырев сидел, задумавшись, за столом. Я ходил взад-вперед, еще не остыв после своего «визита вежливости» к Ряшенцеву. Визита, закончившегося, как мне казалось, оглушительным провалом. Комната была полна дыма, и недовольная жена Болдырева крикнула из спальни:

— Хватит дымить, паровозы!

Болдырев открыл окно, в комнату хлынула влажная прохлада ночи. Он резко дернул шнур репродуктора, в котором Муслим Магомаев громовым голосом благодарил кого-то за догоревшую звезду, и мы стали слушать тишину.

В доме Ряшенцевых горел свет...

— Н-да... С почтальонками надо попробовать. Может, кто и запомнил. Хотя бы улицу, где письмо отдали. Тогда бы легче было, круг бы сузился. Но это не Клима. Нет, не Клима. Хотя — кто может точно сказать?

Спать меня уложили на диван-кровать. Проснувшись случайно около пяти утра, я увидел над собой неясный квадрат света, лившегося из окна.

Что это — у Ряшенцевых целую ночь не ложились?

Дома меня ждал скандал.

Хоть и отправил меня Болдырев в шесть утра на председательском «бобике», но в Крутоярово мы прибыли только в десять — по дороге шофер опохмелялся прихваченным из дому снадобьем, приходя в себя после вчерашнего возлияния, долго рассказывал подробности, купался в Чагыре, дрожал, снова пил и снова купался в студеной

воде. Я безучастно сидел на гальке — мне надо было заново прокрутить события вчерашнего вечера.

Наконец-то мы доехали домой, и шофер шутя содрал с меня тройка, «чтоб у тещи соль водилась».

А дома был тарарам. Ларка рвала и металла. Она орала, что я завел себе в Марково подстилок, что мама ей давно говорила — дело этим кончится, что она дура, каких мало.

С последним я охотно согласился, снимая туфли. Действительно, среди женщин попадаются редкостные дуры, которые почему-то думают, что именно их мужья должны ежедневно (а точнее, еженощно) обслуживать чужих женщин. Причем с такой страстью и квалификацией, какие никогда не перепадают их законным женам. И если ты задержался или (не дай бог!) ездил в командировку с ночевкой, то в лучшем случае тебя осторожно, но зорко осматривают — нет ли где следов помады, прикусов, общихивают — не пахнешь ли ты «ее» духами, в худшем — устраивают грандиозный спектакль с применением фугасных выражений и увесистых угроз.

Вот теперь оказалось, что я совершенно не думаю о том, что мой сын уже в пятый класс ходит, что я кобель несчастный, каких мало, что в селе говорят обо этом — я связался в Марково с подстилками Климовыми.

И она бросила мне в лицо письмо. Конверт попал уголком в глаз.

Стиснув зубы, я потер заслезившийся глаз и поднял письмо.

Ну конечно, почерк тот же. Такой же «немощный» и такой же «дрожащий». Написан, конечно, на той же столешнице...

Жена стояла, «руки в боки», и уничтожающе смотрела на меня.

— Ну? Достукался? Переломают тебе ребра. И Болдыреву твоему. Такому же кобелю!

Я развернул тетрадный листок. «Последний раз тебе говорю. Брось Климовых. А то получишь. И Болдырев тоже».

Подписи не было. Отправлено четыре дня назад.

Чуть левее и ниже ложечки нарастала боль, скоро она стала невыносимой, и я подумал — уж не прободение ли? Не удивительно, если учесть, почему моя Мадам Язва Желудка разыгралась — сплошная редакционная нервотрепка, нерегулярное и несвоевременное питание, зачастую некачественное, и вечная тряска по районным дорогам.

Я кое-как дотащился до подвешенного шкафчика, подставил стул, потому что разогнуться не давала язва, вытащил ящик с лекарствами, взял полупроцентный новокаин и прямо из флакона сделал несколько глотков.

А если прободение? Это ж верный гроб... Ну и черт с ним, двух смертей не бывает. Почти вполз в спальню и лег в пыльных джинсах и рубашке на кружевное великолепие нашего семейного деревянно-поролонового плацдарма.

Желудка я теперь не чувствовал, но с лица полз холодный пот, вены пульсировали, навалилась отвратительная слабость.

— Ну скажи! Тебе меня не хватает? Ну скажи! — наступала жена. Теперь она в крупных слезах. Заключительная стадия истерики. Значит, письмо пришло вчера. Она уже успела перебеситься. Теперь будет час-два рыдать. Потом два дня дуться и молчать. Я тоже. Потом одумается и начнет поиск путей к примирению. Обычно в таких случаях она затевает стирку, где ей позарез требуется моя помощь: «Пожалуйста, подай порошок», «Пожалуйста, давай выжмем покрывало». Иногда у нее ломается телевизор, и тут опять требуется моя помощь: «Какие-то полосы», «Почему-то кадр плывет», «Совсем не показывает, может, не тот канал?» Канал, как правило, оказывается не тот. Частенько в подобных случаях вдруг отказывает стиральная машина, и мне приходится вскрывать заднюю крышку, чтобы обнаружить, что все в полном порядке.

Я давно привык к этим наивным хитростям (хуже, что с каждым годом эти кощунства все продолжительнее, и я думаю, что болезнь прогрессирует). Я охотно подыгрываю этим наивным хитростям, когда Ларка выходит из приступа.

Потому что, в сущности, Ларка — человек относительно неплохой, только с очень растрепанными нервами. Впрочем среди современных педагогов (по крайней мере в нашем районе) не много найдется людей с железными нервами, остальные все — с синдромами.

Немудрено: у учеников одни права, у учителей одни обязанности. Двоек им не ставь — травма личности, из класса не выгоняй — травма, о косметике в восьмом классе не заикайся — травма деточке, пусть мажутся, про цепи, пряжки и бахрому не упоминай — травма. Успевай читать лекции, высниживать на методических совещаниях, педсоветах, школьных, классных и

учительских собраниях комсомола (и профсоюза). Посети хоть раз в месяц дом ученика, а их в классе тридцать. Исполняй депутатские обязанности, участвуй в игре «Зарница», смотрах самодеятельности, сборе металлолома и макулатуры, лекарственных трав. Будь членом (и действенным членом, ты же педагог!) общества Красного Креста, охраны природы, охраны памятников старины, книголюбов, пожарников, ДОСААФ, ДСО и прочее, прочее.

А если муж пришел домой с запахом вина — с кем пил, когда я была занята, с женщиной? Ну а уж если приехал из командировки — это ж ясно, как божий день: пока я тут мотаюсь, он там развлекается.

— Ну скажи! Скажи-и-и...

— Скажу. В тридцатом году вырезали семью коммунаров. Шесть человек. В том числе восьмилетнюю, пятилетнего и новорожденного...

При слове «новорожденный» она замирает, смотрит на меня повлажневшими глазами. В прошлом году ей сделали операцию, и она с тех пор судорожно желала иметь ребенка. Но у нас это пока не получалось, хотя теоретически половина шансов еще оставалась.

— В Марково есть люди, которые в этом участвовали. Я пробую раскрутить это дело. Они об этом узнали. Это письмо уже второе. Почитаешь и увидишь, что тут не переломом ребер пахнет. Фамилия убитых — Клинцовы. А «подстилка» Клинова — это их дочь Лизавета. Она тогда случайно уцелела. Сейчас ей восемьдесят три года. А «кобелю» Болдыреву идет шестой десяток...

Я достал из прикроватной тумбочки оставшийся от былых щедрот ящичек сигар «Лас партагас», обрезал одну, закурил. Мягкий дым успокаивал. Я сел в кресло, расслабился.

Лицо жены было пухлое от слез, красное и некрасивое. По щекам размыты темные пятна — красилась к моему приезду, хотела выглядеть красивее, чем некая «подстилка Клинова» (вообще-то Ларка не красилась). Только теперь я заметил, что на ней кримпленовый (мода!) костюм. Меня охватила острая жалость к ней и обида за эти ее незаслуженные наскоки. Жалость я подавил. Пусть подумает.

Поднялся, разогнулся — вроде бы успокоилась моя Мадам Язвочка или просто новокаин не дает ее почувствовать. Пошел, обулся, вошел вновь в комнату, глянул через стеклянную дверь в спальню. Ларка си-

дела на постели, держа письмо, но теперь на ее лице был разлит невыразимый ужас. Ключуло?

— Я пойду за сигаретами, — сказал я и пошел к двери.

— Паня! Паня! — раздавалось за моей спиной. Голос был испуганный, но я уже закрыл дверь.

Мягко щелкнул английский замок.

Эх, молва-молва! Скольким ты людям отравила жизнь! Скольким людям доставила болезненное наслаждение наблюдать, как корчится в сетях навета очередная жертва.

Наверняка вчера соседка приходила. Посидела с Ларкой, посочувствовала, по секрету передала парочку сплетен. Слишком часто Пантелей ездит в Марково. А тут как раз и письмо...

К черту! Куплю сигарет, по дороге встречу любого знакомого, скинемся с ним и тяпнем винца. А завтра подам на развод. Житья дальше нет. Но сначала все-таки тяпну.

И подумаю, как мне жить дальше. Посижу где-нибудь под кустиком на берегу Чагыра в спасительной тени и подумаю.

3

Перед магазином настроение, однако, испортилось — на остановке стоял наш завсехозотделом Валентин. Пришлось сделать небольшой круг — встречаться с ним сейчас не хотелось.

В магазин я входил, старательно выпрямив спину. Тут работала продавцом Ольга, хохотушка, просмешница, какая-то дальняя родственница Болдырева, она мне каждый раз шпильки подсовывала за «некавалергардский» вид.

— Здрасьте, — сказал я. — Меня зовут Паня. Талия у меня сорок восемь дюймов — в будущем. Зарплата — сто пятьдесят рэ без гонорара, нынче не ценят талантливых журналистов.

Она не поддержала обычного тона. Была серьезна. Даже печальна.

— Ольга, а что за траурное настроение?

Губы у нее дрогнули, скривились.

— Николай Владимирович Болдырев... — И заплакала, не могла больше ни слова сказать.

— Болдырев? Что с ним? Что?!

Вот теперь я знаю, что такое ужас. Вот теперь я знаю, что такое леденящий душу ужас, когда отключается слух, речь, когда слабнут ноги и останавливаются глаза.

Болдырев убит... Как, почему? Верить в это не хотелось. Но это было так.

И вдруг мысль: теперь, что ж, моя очередь? Теперь моя! Откуда ждать удара? От кого? От Ряшенцева? Нет, у него «маска Гиппократ». Его сбросим со счетов. От Пасечника? Но кто он такой? Врал ли Ряшенцев тогда? Кто такой этот Пасечник? Сколько ему лет — восемьдесят, пятьдесят, сорок?.. Кто, кто же он, этот Пасечник? И при чем тут Пасечник? Произошел несчастный случай — и только. Да, да, как выяснилось, Болдырев ехал на мотоцикле и перевернулся. Самое странное, что случилось это вскоре после того, как он проводил меня. А когда возвращался, у бригады на взгорочке развил слишком большую скорость. Колесо мотоциклетной люльки налетело на камень, люльку бросило в воздух, некоторое время «Урал» шел на двух колесах, потом с маху завалился набок.

Случилось это как раз напротив легового стана бригады, метрах в двадцати от него. Там в это время шла планерка, сидело человек сорок мужиков. Так что Болдырев погиб на глазах у людей. Когда подбежали к нему, он уже был мертв.

Остаток этого воскресенья я провел в суматохе. Сбежал к редактору и отпросился на понедельник. Потом сел в райцентровский автобус, съездил к Елкину. Он вообще-то столяр, но заядлый духовик и руководит нашим клубным оркестром. Оркестр состоит в основном из школьников и летом обычно дышит на ладан. Елкин завел свой мотоцикл, мы объехали всех духачей, не хватало только баритониста. Пришлось за баритон взяться мне, до армии я играл на нем в этом же оркестре.

Весь вечер я играл в оркестровке марш «Из-за угла», как его называют обычно все духовики. В двери поминутно заглядывали из фойе, и я выключил свет. Дело в том, что из фойе ведут три двери: одна — в помещение Дома культуры, другая — в кинотеатр, третья — в оркестровку. Шел какой-то фильм с участием Луи де Фюнеса, и народу ожидало в фойе много. Вот и заглядывали от скуки. Больно интересно, наверное, — сидит человек в полной темноте, один, как сын, и играет похоронный марш.

4

Похороны Болдырева были многолюдными, всех потрясла нелепая его смерть. Мы играли беспрерывно и отказались от денег. А когда шли обратно, по параллельной улице навстречу шла такая же процессия.

За машиной было мало народу. В основном, бабки. Раздавалось негромкое, но стройное пение.

Мне стало не по себе; когда я узнал, что хоронят Ряшенцева, умершего в субботу перед утром от сердечного приступа.

...И вот я сидел в ограде дома Болдырева на толстом березовом кругляше и думал о том, что теперь все погибло. Самостоятельно на Пасечника я выйти не сумею. Даже если выйду я на него, то приду к нему с пустыми руками. У меня нет доказательств. А надеяться на чудо не приходится. За сорок с лишним лет со времени убийства Клицковых Пасечник тысячи раз обдумывал свои делишки. Его голыми руками не возьмешь. На Рыжего у меня были беспронгрышные козыри — живой Митька и его рассказ — и то я проиграл. Нет, теперь все пропало. А может, не все? Во всяком случае за это время я многому научился. Научился отстаивать собственные взгляды, не соглашаться с неверными суждениями даже под давлением. Теперь я понял, что и я своими крохотными силами что-то могу сделать.

Мог. И только слепой случай разбил мои планы.

А что было бы, если бы я вышел на Пасечника? Судить его все равно не станут. Опубликовать статью? Но будет ли польза от этого, да и кто мне позволит выступить с такой статьей? Наш редактор? Исключено. Но тогда для чего я все это раскручивал?

И еще я думал о том, что стал причиной смерти двух людей, один из которых был мне дорог как отец.

О смерти Ряшенцева я не жалел. Я еще в пятницу знал, что он обречен и долго не протянет, потому что увидел на его лице «маску Гиппократата».

У меня есть хороший друг, он работает на кафедре судебной медицины. Как-то он рассказывал мне об этой самой «маске Гиппократата» и даже показал несколько снимков в какой-то сугубо медицинской книжке. Я над этим не задумывался, вряд ли мне такие знания пригодятся, и не знал до этого, что «маска Гиппократата» — это опухание определенных зон на лице, которое у некоторых людей говорит о приближающемся сердечном приступе. В большинстве случаев этот приступ бывает, как изящно выражаются медики, «с летальным исходом».

Уходя от Ряшенцева, я увидел на его лице то, что видел когда-то в сугубо медицинской книжке — «маску Гиппократата»...

И вот теперь всё питочки оборваны. И надо начинать с нуля. Снова с нуля.

На поиск Пасечника может уйти год и больше. Надо просеивать все родственные связи работников конторы в те редкие командировки в Марково, которые мне будут выпадать. Задача не из легких. Но никто же на меня ее не взваливал, эту задачу, я сам, добровольно взялся и не жалею об этом, и не отступлюсь от своего, чего бы мне это ни стоило.

Кто-то тронул меня за плечо. Я поднялся. Передо мной стояла невысокая полная женщина с пухлым заплаканным лицом. Она говорила, сильно шепелявя:

— Я говорю, вот в этом карманчике его пиджака я нашла квитанцию.

Она протянула мне маленькую бумажку. Это была квитанция на перевод мне в Иркутск ста рублей телеграфом. Я не понял, почему эта женщина (сестра, племянница?) мне ее показывает. Ларка мне прислала тогда сто рублей, но, они пришли в Иркутск уже после того, как я вылетел в Тайшет. Уже дома, узнав об этом, я потребовал их назад, получил и отдал Болдыреву. Он долго их не брал, но я сунул в карман — он пошел и положил на книжку (сберкасса — рядом с конторой).

Я взял квитанцию и все понял: меня считают должником. Доказывать сейчас, что деньги я отдал, не было смысла. Женщина забрала у меня из рук квитанцию и сказала, что отдаст ее мне, как только верну деньги.

— Конечно, — сказал я. — Деньги я непременно верну.

Когда мы уже положили духовые инструменты в автобус, и я входил в него последним, бросив прощальный взгляд на дом, в который, быть может, я больше никогда не войду, снова подошла эта женщина:

— Я забыла вам сказать. Там еще сколько-то за телеграфный перевод добавить надо...

Я молча кивнул.

СОРОКОВЫЕ

Лошади устали, и двое в кошеве — тоже. Лошадям надоело месить жидкий снег пополам с водой. Весна шла, но очень уж робко. Проталины на дороге, грязный снег, долгий путь — устали лошади тащить кошеву восьмой десяток километров.

Со взгорочка показались огни станции. Они дрожали в воде длинной полыньи, кра-

ем подходящей к дороге. А дорога спустилась на лед, и лошади запрядали ушами: лед приподнялся и дрожал от бившейся под ним бешеной весенней воды.

— Тпру! Тпру, черти!

Кошева остановилась у самого края полыньи.

Над станцией висела ранняя ночь. Дорога отчетливо чернела на весеннем льду. И лошади пугливо косились в сторону шумевшей полыньи и переступали ногами. Ниже полыньи лед приподнялся над водой шапкой, темная дыра между водой и льдом, как гигантский беззубый рот, пугала лошадей.

Высокий старик снял тулуп, сдвинул со лба на затылок шапку и сказал мягко:

— Выдь-ка на минутку.

Второй сбросил тулуп в кошеву. Потянулся. Расстегнул полушубок. Вытащил папиросу, сунул ее в рот и осторожно ступил на лед между кошевой и полыньей.

Старик с неожиданным для его возраста проворством вскочил на ноги в кошеве и что было силы толкнул второго в спину. Тот глухо вскрикнул и рухнул в полынью, вынырнул, закричал, но крик оборвался — голова ударилась об лед, там, где он приподнимался шапкой над водой. Все стихло. Тело унесло течением. Насколько хватало глаз, ниже не было ни полыньи, ни промойны.

Старик осторожно, не вылезая из кошевы, кнутом сбросил шапку в воду — она лежала на краешке льда, слетела при толчке.

Шапка поплыла и скрылась в бурлящем проеме.

Старик видел, как зять собирался на курсы трактористов, настороженно следил за его сборами. Тот взял все документы, даже Почетные грамоты, взял бритву, белье, снимал со стен фотографии.

Решил сбежать. Решил сбежать? Значит, про Аграфену скажет. Скажет, сволочь! Что делать?

Вечером были проводы, и старик уговорил подвыпившего зятя ехать не в Крутоярово, а сразу на станцию, до железной дороги — напрямик.

Зять согласился, вот и поехали. И приехали...

Старик, прищурив глаза, коротко взмахнул бичом, лошади устало заперебирали ногами.

...Объявленный неделю спустя всесоюзный розыск отменили по весне. Двумястами километрами ниже по течению Чагыра был обнаружен обезображенный труп, в

котором опознали Николая Ермакова — на левой руке сохранилась наколка; восход солнца и надпись «Привет Сибири».

НЕМНОГО СО СТОРОНЫ

1

Шла уборка, и Пантелею некогда было вздохнуть. Работа районного газетчика такова, что в уборку это — сплошные командировки, самая лучшая пора года. И если человек хоть мало-мальски любит свою работу и свою газету, он пропадает день и ночь в поле. Нет ничего изнурительнее работы районного газетчика именно в эту пору. И все же Пантелей умудрялся выкроить часок-другой, чтобы поразмышлять и обдумать сложившуюся ситуацию. Ниточка, которую он держал в руках, оборвалась, и он казнил себя за то, что стал причиной, хотя и косвенной причиной, смерти Болдырева, пока не узнал, что планерка у председателя колхоза в тот день назначена была не на восемь, как обычно, а на семь: выходили в поле первые комбайны на овсе и горох. И торопился Николай Владимирович именно потому, что опаздывал на планерку, и опрокинулся он около бригадного стана без десяти семь, а до Марково от бригады еще шесть километров. Чувствовал, что опаздывал, вот и гнал.

А вот в смерти Ряшенцева Пантелей оправданий не нашел. Он и только он был причиной сердечного приступа, который свалил Рыжего.

Оставался еще Пасечник. Но как его найти? После смерти Рыжего Пасечник может вздохнуть свободно. Свой язык он давно небось научился держать за зубами, а чужих ему теперь опасаться было нечего.

В один из вечеров в самом начале октября Пантелей, как обычно, задержался в редакции на часок. Любил он это время, когда в редакции тихо, за окном льет дождь, а в типографии глухо стучит машина. В это время, под монотонный дождь, легче думается и глубже, как-то четче видится то, что в дневной суматохе ускользало от взгляда. Да и расслабиться можно — шеф не вызовет, никто на самом интересном месте не прервет твои мысли. Благословенны эти минуты. Но, как говорится, всему есть конец. Пора и честь знать, а то видит в последнее время сына только сонным. А когда был с женой в кино, он уже и не помнит. Может, сходить

сегодня? Впрочем, стоит ли по такому дождю? Да и поздно уже, последний сеанс давно начался.

Он шел по пустынной сумрачной улице от одного светильника к другому, и намокшее демисезонное пальто тянуло его книзу.

Он шел, засунув руки в мокрые карманы и чувствуя, как сводит лопатки от сырости и холода, мечтал о горячей ванне — в этот вечер она была бы кстати. Но ванны в их двухэтажном восьмиквартирном доме не было, как не было и водопровода. Отопление было автономным. Если Ларка не затопила печку, то дома сейчас прохладно, и она лежит в постели, включив электрический обогреватель. А сын сидит в кресле с ногами, укрывшись отцовской шубой. Пантелей улыбнулся, представив себе эту картину, и вдруг увидел, что в прокуратуре горит свет.

В щелочку между шторами был виден край обширного коричневого сейфа и сам прокурор, что-то усердно писавший. Немного поколебавшись, Пантелей поднялся на крыльцо и толкнул дверь. В коридоре было пусто, но не успел он сделать и двух шагов, как послышался густой бас:

— Входите, входите...

«Ну и слушок у Карпа Карпыча».

Прокурор был невысокого роста, очень веселый, подвижный, с большими пышными усами вразлет. Однако внешность его и сбивала некоторых с толку — добряк прокурор умел быть крутым, когда этого требовали интересы дела.

— Ты не ночевать, Карп Карпыч, собрался? — спросил Пантелей, садясь у стола.

Прокурор поднялся навстречу, протянул было руку, потом махнул — виделись сегодня. Прикрыл какой-то листок папкой.

— Письмо вот пишу другу. Спрашивает, сколько я зарабатываю. Так я пишу ему: когда мы с тобой, Битя, работали вместе на кранах, то зашибали и по пятьсот. Потом я шесть лет ездил на заочный юридический факультет университета, грыз юриспруденцию, теперь я больше не крановщик, а районный прокурор. И получаю в два с лишним раза меньше, чем раньше, зато и доволен своей работой тоже вдвойне. Не все, брат, деньгами измеряется.

Он улыбнулся, сверкнул черными глазами.

— Ну а ты, ты-то чего полуношничает? Ночной визит в карательные органы? Если с повинной, то повинную голову меч не сечет...

— Так уж и не сечет?

— Известное дело, не сечет... Ну что там в ваших журналистских кругах?

Пантелей пропустил вопрос мимо ушей.

— Карпыч! Не сохранилось ли дело об убийстве Блатина?

— Блатина? — удивился тот. — Не помню такого. При мне вообще убийств не было.

— Он был убит осенью пятьдесят четвертого.

— Давненько. А вообще-то, — поднялся он, — посмотреть можно. Посиди пока. Почитай вот, — протянул свежий журнал «Социалистическая законность», открыл сейф, достал круглую печать и мастику, запер сейф, запечатал в нем бумаги со стола и вышел.

Пантелей успел уже весь журнал от корки до корки прочитать, а его все не было. Наконец появился с увесистой папкой.

— Вот. Читай. Уже срок давности. Но... Но! Зря ты за это дело взялся без нашей помощи, парень. Мне твой шеф как-то говорил, что ты решил докопаться до истины по делу об убийстве Клинцовых. Наивный ты человек, разве такие дела в одиночку делаются! Нет, брат, ничего ты не добьешься.

— Уже не добился, ты прав, Карпыч. А что без вашей помощи взялся, так вам же лучше. Что у вас, что в милиции это расследование надо было чем-то аргументировать, составлять бесчисленные бумажки, потом начальство ваше будет вас шерстить — каковы результаты да каковы достижения. А тут — никаких ни контролей, ни вмешательств. Все это я вел только на логику да интуицию. Да с помощью людей, очевидцев.

— А без помощи людей и мы никуда не годимся. Читай. Я подожду. Домой я тебе его, конечно, не дам. А детективчик хороший... Да ты читай, читай.

2

Утро началось, как обычно, с планерки. Уточнили план-макет номера на субботу, а также на вторник и четверг будущей недели. Решили, кто поедет в командировку, кому собирать информашки на первую полосу в текущий номер. Потом все вышли, а Пантелея редактор попросил остаться.

— Сдашь дела Симке. Месяц тебя здесь не будет. Опять бумага.

Пантелей взял письмо. Вместо обратного адреса стоял штамп Крутойяровской районницы, и Пантелей испытал даже некоторое облегчение: конечно же, его пригласят.

шали на противоречивое лечение. Это повторялось дважды в год, и редактор правильно рассудил, получив письмо со штампом больницы, что на этот раз Пантелей заляжет на месяц, хотя все эти годы со скандалом, но открещивался.

— Завидую я тебе. Можно целый месяц валяться, ни о чем не беспокоясь. Целый месяц! Курорт...

В конверте лежал отпечатанный на машинке листок с вписанной от руки фамилией Пантелея: «Предлагается в течение трех дней явиться в стационар райбольницы для прохождения противоречивого лечения по поводу язвы желудка». И вместо подписи закорючка.

— Ладно уж, — редактор подобрел. — Материал мы с тебя сегодня не спрашиваем. Сдавай дела. А вообще-то позвони главврачу, вдруг к концу недели?

Пантелей позвонил и получил ответ: хочешь лежать в двухместной, являйся завтра к одиннадцати, к выписке. Иначе будешь лежать или в четырехместной, или в большой. Значит, надо дела сдать сейчас, а остаток дня посвятить одному неотложному делу.

Процедура передачи много времени не заняла, и уже в половине одиннадцатого он был свободен. Медленно шел он домой и думал, что надо все привести в стройную систему. Но эту мысль перебила другая — а кому теперь нужна твоя система, Пантелей? Кому она принесет пользу, твоя система?

Но все-таки решил зайти в районный архив и посмотреть подшивки своей газеты за начало тридцатых годов. Конкретно, его интересовал тридцать третий год. Может, там встретится нечто, что проиллюстрирует и подкрепит предположение, возникшее вчера.

Да, вчера. При чтении дела об убийстве сторожа Блатина.

Мысль была совершенно невероятная. И пришла как-то сразу, неожиданно. Что ж, надо поискать...

В районном архиве, куда Пантелей пришел после обеда, собрав вещички для больницы, две говорливые женщины рассуждали о дочерях. Дескать, невозможная молодость пошла. Вот приехали две девицы из города — одна в штанах какими-то вилюшками, другая в платье до пят и шляпе оборочками.

Пантелей листал подшивку газеты «Зори предгорья» сорокалетней давности и улыбался. Давно когда-то его тоже жучили за узкие брюки, за «ублюдочный танец рок-н-ролл». А мать однажды, пока он умывался, придя с автобазы, спрятала его берет. Стеснялась, что сын ходит по райцентру «в девичьей беретке».

Все было. И все повторяется. Ему нравился рок-н-ролл, красивый атлетический танец. И чарльстон уже после армии он танцевал с удовольствием, как только после операций стало можно танцевать. Твист тоже не вызывал в нем ни отвращения, ни иронии. Другое дело, как танцевать эти танцы, если без ужимок и кривляний, то в любом из них есть грация, хотя самым красивым он считал все-таки танго.

А вот после твиста танцы для него кончились. Или стареть начал, или грация исчезла из всех этих танцев, которые слились в один бесфигурный и безликий танец. Так, подпрыгивают на месте, размахивают руками, кто во что горазд, стадное качание, а не танец.

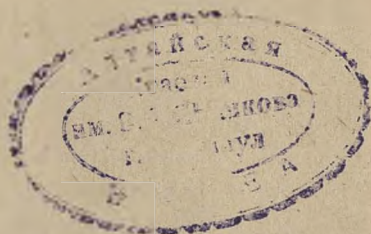
Он задумался, листая, и когда подшивка кончилась, подумал, что пропустил нужную заметку. Возможно, он просто ищет вчерашний снег, и никакой заметки не было тогда, в тридцать четвертом году.

Нет, что-то должно быть. Если, конечно, его выкладки верны. Ну-ка, Пантелей, еще раз. Откуда «есть пошла» эта догадка?

...На нее Пантелея натолкнули два обстоятельства. Первое было зафиксировано в протоколах еще в пятьдесят четвертом году, когда проводили вскрытие трупа сторожа Блатина. Второе — четыре года спустя, когда новый следователь, только что назначенный в Крутойярово, пытался как-то разъяснить это дело. Среди множества повторений и аналогичных показаний Пантелея заинтересовало одно.

Товарищ Блатина по прошлой работе, хромой кузнец Илья Фоминых, в своем рассказе о Василии упомянул одну очень важную деталь. Он еказал, что в тридцать третьем году, тогда еще мальчишкой, он работал в том же маленьком колхозе, что и Блатин, конюхом. Летом Василий брал у него мерина Лысана, чтобы съездить к родственникам в Боровлянку. Этот мерин его и растрепал, опрокинул телегу. Василий упал, сломал ногу. Подобрал его Ряшенцев, привез домой. Василий был трезвый. Самодельную шину на перелом ему собственноручно наложил Ряшенцев. Утром фельдшерница сделала укол, переделывать

8/082029



Редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, И. И. БЕРЕЗЮК, П. А. БОРОДКИН,
Е. Г. ГУЩИН (зам. редактора), В. В. ДУБРОВСКАЯ, Л. И. КВИН,
В. Н. ПОПОВ, Н. И. ЧЕРКАСОВ, О. Н. ШЕВЧУК

АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1980 № 1

Художественный редактор В. Еранкин. Технический редактор М. Сафонова.
Корректоры Г. Ульченко, Н. Тырышкина

Рукописи не возвращаются

АГ 01077. Сдано в набор 23. 01. 1980 г. Подписано к печати 6. 03. 1980 г. Формат 84x108/16. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 10,171. Тираж 7000 экз. Заказ № 132. Цена 40 коп. Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76. Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656056, Барнаул, Ленина, 8. Тел. 3-09-21.

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

pp.

шину или менять повязку Блатин наотрез отказался. Ходок Ряшенцева был запачкан кровью Блатина.

Утром же недалеко от того места, где опрокинулся Блатин, нашли и Лысана. Мерин спокойно пощипывал ветки и высокую траву, был он не взнуздан, но хомут мешал ему наклонять голову к траве. Увидев людей, Лысан заржал и пошел им навстречу. Боковина телеги была немного поцарапана, плетеный пестерек в нескольких местах порван.

Все, что сказал Илья Фоминых и записал молодой следователь, повторялось и в других показаниях. Пантелей обратил внимание на то, что ускользнуло, должно быть, от городского следователя.

Как деревенский житель Пантелей сразу же отметил строчки: «Лысан был смиренный. Ни до, ни после этого случая никого не трепал. Работал он в колхозе до финской войны, потом на лесоповале бревном придавило ногу, и его прирезали».

И еще одна строчка из показаний об июле тридцать третьего года: «В ту ночь была сильная гроза с громами и молниями», она вызвала у Пантелея какую-то смутную, еще не оформившуюся мысль.

Гроза с громом и молниями. Спокойная лошадь растрепала опытного крестьянина, трезвого крестьянина, бывшего солдата, бывшего единоличника. Не умел обращаться с лошадьми? Не смешно. Лысан испугался неожиданного удара грома? Возможно. Но Лысан не скакун, не рысак, а обыкновенный мерин. Он несколько лет служил какому-нибудь единоличнику, а потом был сдан в колхоз. И там, и здесь он ни дня не стоял без дела. Частенько, разумеется, его в поле заставляла гроза. Что же, он никогда не слышал грома, раз понесся, испугавшись, опрокинул телегу и вывалил Блатина? Возможно, но не очень вероятно. Это ведь крестьянская лошадь, а не каретная...

А что, если Ряшенцев и Блатин для своих налетов выбирали глухую погоду? Да так оно и есть. Об этом можно судить хотя бы по налету на коммунаров Клинцовых. Если гроза обещала разразиться еще с утра или хотя бы с обеда, то можно предположить, что и в тот день Ряшенцев и Блатин намеревались совершить налет.

Вот на какие мысли натолкнуло Пантелея утверждение кузнеца Фоминых, инвалида войны, что мерин Лысан никогда никого не трепал. Ни до случая с Блатиным, ни после. Почему же для Василия Блатина он сделал исключение?

А если учесть, что самое удобное время для налета — это суббота и воскресенье? Суббота даже лучше. В субботу уставшие люди топили бани, выпивали с недельного устатка, ходили в гости, по субботам люди беспечны, они отключаются и расслабляются в предвкушении завтрашнего отдыха.

И вот тогда еще там, в прокуратуре, под монотонный шум дождя и вздохи прокурора Пантелей стал писать на листке длинные колонки цифр.

1954, 1953, 1952... И так до тридцать третьего. Год по отношению к прошедшему отодвигается на один день: в том году суббота, в этом — воскресенье, в високосный год добавь еще один день. Так, вторник-среда, стоп — високосный год. Еще. Еще... Пантелей самым примитивным образом пытался вычислить, в какой день недели Блатина растрепал Лысан в июле тридцать третьего. Оказалось, в ночь на воскресенье...

Вот такие пироги. Гроза. Ночь с субботы на воскресенье. Ряшенцев и Блатин. Ряшенцев якобы случайно встречает Блатина, который будто бы лежит на дороге с переломом. Привозит его к нему домой. Сам накладывает шину. Ходок в крови, значит, перелом был открытым? Нужно вмешательство фельдшерицы, но ей позволяют сделать только укол, а за шину взяться не дают. Почему? Да потому что под шиной есть что скрывать.

Придя к этой мысли тогда, в прокуратуре, Пантелей стал лихорадочно искать акт вскрытия убитого сторожа. Приятного в чтении подобных документов мало, но Пантелей надеялся на добросовестность городского эксперта, проводившего вскрытие: он должен был отразить не только характер раны, послужившей причиной смерти, но и особенности строения организма, старые раны, переломы и т. д. Поэтому и читал акт, путаясь в медицинских терминах, внимательно. А вот и то, что искал...

Карп Карпыч уже начал от нетерпения усами поводить, а Пантелей все сидел и в который раз перечитывал это место в акте, не веря в удачу и стараясь запомнить.

Так. На ноге ниже колена — застарелый след ранения. Кости смещены и срослись неправильно. Значит, были раздроблены. Значит, раздробленность была внутренней? И кровь запачкала ходок вовсе не потому, что кость вылезла. А потому, что была рана. В акте сказано: «предположительно, из крупнокалиберного оружия. Возможно, пулемета».

Возможно, и пулемета. Возможно. Ну а жакан? Это возможно?

Дальше. Фраза: «Больше никаких давних шрамов, переломов и повреждений на теле не обнаружено». Никаких! Значит, перелома не было, а была рана, и это совершенно точно.

А где рана, там и перестрелка. С кем? С Ряшенцевым? Нет, иначе Блатин закончил бы свой путь еще тогда, в тридцать третьем.

И последнее. Надо искать в районной газете за июль тридцать третьего года сообщение об убийстве кого-нибудь в ту пору видного — политотдельца МТС, тракториста, селькора, избача, лектора-атеиста, милиционера, комсомольца... Кого еще?

Надо искать. Или сообщение о несчастном случае. Да, и о несчастном случае — тоже...

...И вот под торопливый шепот и вздохи двух женщин, архивариуса и ее приятельницы, Пантелей обескураженно закрывает папку с подшивкой газеты «Зори предгорья» за 1933 год и обессиленно откидывается на спинку стула.

Такая стройная система рушилась. А ведь все было строго по логике. Строго! Все фактики и предположения, все умозаключения ложились, как кирпичики, в монолитную, крепко сложенную стену. А заметки нет. Стена вышла мощная, а заметки нет.

Вот так и лопаются блестящие версии, с таким трудом выстроенные. Железобетонные версии!

Пантелей хлопает рукой по папке, собираясь встать, и неожиданно видит между пальцев выцветшую чернильную цифру — 4. Осторожно, стараясь не дышать, растопыривает пальцы. Слева от четверки появляется тройка, потом девятка, потом — единица. 1934.

Идиот! Рухлядь! Прав редактор — скоро чокнешься с этим самозванным расследованием! Подшивка-то тридцать четвертого года! А нужен тридцать третий!

Две женщины с удивлением смотрят, как Пантелей прыжками бежит к стеллажам, лихорадочно роется в папках, хватая одну, возвращается к столу и, тяжело вздохнув, начинает всматриваться, впиваться в пожелтевшие листы малоформатной двухполосной газеты, выходившей в Крутояриво за семь лет до его рождения.

Июль надо искать. Июль. Грозовую ночь с июльской субботы на июльское воскресенье. Искать, искать, искать... Газета выходила во вторник, четверг и субботу.

Набор ручной. Значит, во вторник не успели. Значит, в номере за четверг. Стоп! Вот оно...

«Нелепый случай вырвал из наших рядов лучшего селькора района Афиногенова Ефима Никоновича. Много лет своими заметками он клеймил классовых врагов — кулаков и подкулачников, сильно бился за коллективную жизнь, выводил на чистую воду лентяев и растащителей. Всех, кто мешает жить в коллективном сельском хозяйстве, кто мешает строить нам светлую, новую, социалистическую жизнь.

Ефим Никонович погиб при пожаре. Здоровье у него в последнее время пошатнулось, участились сердечные приступы. Враги дожимали его анонимными угрозами. После трагического случая с его женой, заведовавшей избой-читальней (ее нашли на дороге с проломленной головой в марте этого года), Ефим Никонович не расстался с ружьем. Он знал, что его подстерегает враг, и хотел его встретить боем. А его подстерег нелепый случай.

Дом его стоит на отшибе от села, отделенный большой рощей. В ночь на воскресенье была гроза с сильными молниями и громами, и пожар в бане не заметили в селе. Возможно, случился сердечный приступ. Ефим Никонович упал, свалил лампу, от этого и загорелось. Кто знает?

Дом не пострадал от пожара, в нем все цело. Среди пожарища бани обнаружены останки Ефима Никоновича, ствол ружья (приклад сторел) и пять обгорелых жаканных гильз. Три разорванные (были заряжены и взорвались от огня). И две целые (были пустыми).

Нелепый случай стоил жизни нашему товарищу. Сердце подвело его. Но мы его не подведем, мы продолжим его замечательное дело.

Участники первого районного слета селькоров».

Ну вот, Пантелей Степанович, все и стало на свои места...

И он просто зримо представил себе, как среди дождя, грома и молний дожидались в роще Блатин и Ряшенцев, когда Афиногенов пойдет в баню. А потом, дождавшись, пока он намылится, ворвались. Или стреляли через окошечко. Как бы то ни было, а убили его выстрелом в грудь, раз череп остался цел, иначе бы было следствие, и не было бы все квалифицировано как несчастный случай. Но все-таки он успел выстрелить дважды. «Две гильзы были пусты». Нет, товарищи селькоры, не пусты,

а отстреляны! Раз промахнулся, второй жакан влепил Ваське Блатину в ногу.

А что дальше? Дальше Ряшенцев тащит Блатина, кладет в свой ходок, а сам поджигает баню. Как? Очень просто — выливает керосин из лампы или привезенный с собой на поленья, которыми обкладывает тело Афиногенова, и поджигает. Сухие дрова быстро занимают, а листовые стены бани — те горят с гудением.

На полпути домой опрокидывает телегу, отведя Лысана от дороги, раздирает бок сухого плетеного пестерька — силы ему не занимать. И оставляет «смиреного» Лысана под дождем и молниями. Никто по этой дороге в такую непогоду не поедет...

Впрочем, может, это было и не совсем так. В деталях. Общая же картина не может быть иной.

И Пантелей в который раз с резким и безнадежным сожалением думает, что все это теперь уже никому не нужно. Это не обнаружешь — у Блатина и Ряшенцева есть дети и внуки, которые тоже имеют право на жизнь. А знал ли кто из них — этого теперь практически не докажешь...

Внуки, конечно, не знают, это определено. И обнаружение всех этих фактов просто невозможно. Прости меня, Афиногенов, думал Пантелей. Прости меня, Афиногенов, не могу я сказать никому про твою героическую смерть. Не могу даже твоим потомкам рассказать, как дрался ты в прозовую ночь, как принял неравный бой. Как погиб, но успел оставить отметину, по которой я и добрался до разгадки твоей смерти, хотя о тебе, Афиногенов, ни разу не слышал и увидел твою фамилию три минуты назад. Прости меня, Афиногенов. Не знаю, за что, но ты меня прости, Афиногенов. Придется скрыть правду о твоей героической смерти, потому что это может помешать судьбам детей твоих убийц. Прости меня, Афиногенов, придется вечно это в себе носить. Придется...

— Пань! Я тебя ищу, — это Ларка. Она в плаще, и на пол падают тяжелые капли. На улице снова дождь — нудный, осенний. Надевшая плащ женщина-архивариус позвякивает ключами у двери, уже шесть часов.

— Идем-ка домой. Очень нужно. Ты все закончил? Тогда идем.

По дороге она зябко прижимается к нему боком, а он поминутно останавливается, чтобы прижечь мокнущую папиросу.

В доме тепло, на кухне гудит голландка, потрескивают трубы автономного отопления. В кресле перед работающим телеви-

зором, подтянув колени к подбородку, прикорнул сын. Лариса, сняв платок, но не раздеваясь, проходит, оставляя следы на дорожках и ковре, тянет за собой Пантелея. Садится во второе кресло, рядом со спящим сыном, прикладывает руку мужа к своей мокрой щеке, говорит тихо:

— Пань! Я беременная... Да точно, точно. Для верности врачу сегодня показала-лась...

Ну вот. Хоть одна награда за эти мучительные дни, недели и месяцы, за тысячи часов вечных тревог и раздумий, никому не нужных тревог и никому не нужных раздумий, за два года, которые Пантелей провел, живя одновременно в тридцатых, шестидесятых, двадцатых и семидесятых годах. Неужных? Нет, нужных. Нужных!

И он гладит и гладит жесткие волосы жены, проводит пальцами по ее щекам, улыбается мягко и задумчиво. Молодец, Ларка! Нет, что и говорить, жена у него все-таки молодец...

ЗАПИСЬ ДЕВЯТАЯ

1

Однако залечь в больницу мне пришлось не в этот раз, а несколько позже и совсем по другому поводу. Я уже было полностью собрался: уложил в портфель зубную пасту, щетку, детектив на немецком, пачку листов бумаги — может, напишу что-нибудь — и пришел в редакцию.

Послonyaлся по кабинетам, от нечего делать. Еще только десять, а в больницу к одиннадцати. Выбросил папиросы, оставив себе только две штучки — надо отвыкать, там мне и дыма понюхать не дадут.

Итак, впереди месяц спокойной и скучной жизни. Хорошо, если сосед по палате попадется не нудный и не храпящий (и не чавкающий за столом). Пока что надо будет написать очерк о женщине-коммунарке, давно собирався, да все руки не доходили. Да и к сессии пора готовиться — через каких-то четыре месяца у меня последняя сессия и выход на диплом.

Так вот получилось, что, кончив школу на год раньше, чем положено, я до сих пор все еще «неуч».

После выпускного вечера в далеком пятьдесят шестом я послал документы в училище гражданской авиации, сдал экзамены на одни пятерки, прошел комиссию — все нормально. Но в училище не попал. Принимали в полных семнадцать, а мне

было шестнадцать лет и два месяца. Ничего не поделаешь, конкурс бешеный, кого-то резать надо, и поехал я домой.

Мама печалилась недолго: старшая сестра у нас работала (да и то у чертей на куличках — на Памире), старший брат дослуживал на флоте, средний брат и вторая сестра учились в институтах. Вот и решила мама — раз не удалось устроиться на государственное обеспечение, то работай, Пая, помогай тем, кто учится. А как брат закончит, так и тебе можно будет.

Работал я в автобазе сначала слесарем, потом вулканизаторщиком. Осенью пятьдесят девятого должны были в армию взять, но подвел хронический гастрит, заработанный еще в голодном детстве. Дали отсрочку, а год спустя средний брат окончил институт, пришел со службы и женился старший, сестра тоже стала специалистом, так что надобность во мне отпала, и я мог устраивать свои личные дела.

Пошел я в военкомат сняться с учета, думал поехать пораньше, поготовиться в городских библиотеках, походить на консультации, но не тут-то было — оказалось, через месяц подлежу призыву в армию.

А потом — армия, песочек, масса свежего воздуха, словом, юг и танковые войска. Сначала жалел, что попал в армию, а не в институт, теперь вижу, что армия мне дала многое. После демобилизации поступил я на переводческий факультет иняза. Жизнь начала так удачно складываться, а потом при обследовании обнаружили язву желудка (я ее до этого времени даже от институтских товарищей скрывал). Обнаружили какую-то наследственную особенность стенок желудка — после операции на шве могут возникнуть несколько новых язвочек, а повторной резекции уже и подвергать будет нечего. Доктор долго объяснял мне механизм этой штуки, а я его не слушал — мне опять приходилось начинать с нуля. Уезжал я из института «к маме на хлебы» едва не со слезами. Со временем горечь прошла, человек примиряется со всем, бываю и не такие удары судьбы, а это — так, семечки.

На третьем году жизни в Крутоярово, где я стал работать в редакции, Мадам Язvu удалось заглушить. Этому помогли прополис и девясил, лопух и алоэ, альмагель и метилурацил, которые я ел, пил, жевал, сосал, кусал, разозлившись на докторов. Вот тогда-то, прекратив трехлетнее воздержание от табака и вина, став снова здоровым, хотя и тощим, я решил, что образование таки да надо получать, в наш век дип-

лом — это многое. Теперь до диплома осталось один шаг.

К последней сессии надо готовиться. И больница мне в этом, как ни странно, поможет.

...Я сидел в своем кабинетике, Симка уехала в командировку куда-то к своим комсомольско-молодежным животноводческим коллективам. Я ждал, когда пройдет последний полчас и надо будет являться со своим скарбом в больницу, и от нечего делать насвистывал «Адъос, миа Гуадалахара». Уже давно я не имею никакого отношения ни к инязу, ни к языкам, лишь иногда просто так, для себя, покупаю детектив или роман на немецком или испанском, да и то приходится частенько в словари лазить — ничего не поделаешь, практики ведь нет, а язык без нее забывается моментально, произношение плывет, лексика «выпадает» из памяти. Но песни, услышанные в инязовские студенческие годы, крепко засели в моей голове, и Ларка как-то правильно подметила, что если я насвистываю что-нибудь испано-латиноамериканское, то значит я задумался.

Вот на «Адъос, миа Гуадалахара» и забежал ко мне редактор. Совсем некстати забежал, потому что, если бы я пораньше ушел в больницу, то все остальное сложилось бы иначе.

Ему позвонил коллега из соседнего района, попросил об одолжении. Из Крутоярово в Каменную Падь уходит сегодня вертолет к геологам. В Каменной Пади вертолет задержится с недельку. За это время можно набрать кучу материала. Конкретно, ему нужен очерк о козоводах. Всего только один год разводила горных пуховых коз бригада в Каменной Пади, а сумела дать неслыханный доход. Вот об этом как раз и очерк. Так сказать, социальный портрет передовой бригады.

В Каменную Падь соседи-журналисты не могли добраться из-за бездорожья: льда крепкого не было, а зимняя дорога идет по речке Громотухе. По летней же дороге туда попасть практически невозможно: поносило мостики шугой. Вообще в Каменную Падь можно было попасть только пять месяцев в году в летний период. Остальное время она полностью отрезана. Зимой ездят на лошадях по наледи и то в случае крайней необходимости, машины же туда даже и не посылают — бесполезно: горы и тайга.

Плохо еще и то, что у них вышла из строя рация, диспетчерская колхоза никак не может связаться с бригадой в Каменной Пади. Короче, если кто заболел, то по-

шлют верхового, прилетит вертолет. Но на вершине ехать за материалом в Каменную Падь наши соседи-журналисты не могли: у них в редакции всего два мужика работают, и те сейчас в отпуске, а посылать женщин...

Прослышав о вертолете от нас на Каменную Падь, сосед-редактор и попросил моего шефа отправить кого-нибудь туда. Не беда, что чужой район. А потом материал передать им по телефону из Крутоярво, и он как раз успеет к их районной выставке и слету передовиков сельского хозяйства.

Вот так и подвела меня «Адъос, миа Гуадалахара». Редактор долго ходил вокруг да около, потом наконец сказал прямо, что все понимает, но просит выручить соседей. Когда он это говорил, глаза его старательно обходили меня. И мне вдруг стало его жаль. Он терзался. Посылать кого-то из наших на неделю, когда половина в отпусках? Унизиться до того, чтобы попросить Пантелея? И не столько был ему неприятен сам разговор, сколько он страшился отказа — отношения у нас не из лучших, и с его колокольни, мой отказ доставит мне страшное удовольствие, а его унизит. А отказать я был вправе — мне надо было на лечение. Но я согласился. Попросил лишь позвонить Ларке после обеда (когда улечу) и все ей объяснить. Через часок-полтора редакционная машина подвезла меня к лагерю геологов, я влез в грохочущую стрелку, и мы полетели.

По правде сказать, мне было ровным счетом плевать на «миллион терзаний» редактора. Я согласился в общем-то не столько потому, что пожалел его или пошел навстречу, хотя и это сыграло свою роль. Я согласился во многом потому, что в Каменной Пади жил Юрочка Домбровский, который знал лесника Ивана Маслова.

Он присылал мне в свое время всю подноготную этого лесника, но она никак не сходилась с данными того Ивана Маслова, который был когда-то мужем Тетки-Таськи и погиб на Курской дуге. В то же время на фотографии изображен именно он. Тот самый Маслов, который жил до войны с Теткой-Таськой, а теперь живет на кордоне в Каменной Пади с какой-то Дарьей.

Именно это обстоятельство и заставило меня сразу, без колебаний, поспешно согласиться, чем я и вызвал еще большее замешательство редактора, настроившегося было на длинный и трудный разговор.

Услышав про Каменную Падь, я ощутил знакомый зуд, который не проходил у

меня, пока я раскапывал Ряшенцева и компанию. Но тогда, потерпев фиаско, я зарекся браться за такие вещи или хотя бы делать их так, как я их делал или пытался делать.

Об этом зареке я вспомнил только в вертолете...

Мы плыли над лесистыми горами, под нами извивалась быстрая Громотуха, кое-где схваченная льдом, проплывали маленькие таежные поляны со стожками сена — пестрая картина ни осени, ни зимы. Снег есть, льда нет. Холодно, а кое-где пламенеют березы и тополя, не успевшие еще сбросить последние листья и похожие на живописных маскарадных оборванцев. Грязь на проселочных дорогах, глубокие тракторные колеи. Дымки из труб домов. Черные кучи сожженной соломы. Уныние и серый цвет — переходный период. Лето уже сдалось, а зима еще только подкрадывается.

Так и в людях — молодость еще не ушла, а старость уже подкрадывается. И иногда не столько старость, сколько равнодушие. Человек становится серым и безразличным к другим людям, вялым к работе, безликим. Пустая оболочка молодого и энергичного...

Я поймал себя на мысли, что провожу параллель между собой и редактором. Он, когда приехал, отлично видел недостатки в районе, да и кто их не видит. Но не захотел подключать общественность, не захотел проводить по-настоящему точное обследование истоков, питающих недостатки. Пошел по «обличительскому» пути. Несколько материалов и в самом деле были хороши. Но потом они стали повторяться, и в них он делал упор на личность руководителя, а не на объективную суть дела. Очень скоро кое-кто сделал вывод, расценив это как личные выпады, а действия редактора потихоньку стали называть партизанщиной.

Я вдруг подумал, что в своих «расследованиях» повторяю методы редактора. В самом деле, что за партизанщина? Почему бы не поставить в известность прокуратуру? Впрочем Карп Карпыч знает. Но и он считает мое предприятие авантюрным. А я продолжаю стоять на своем, а вернее, продолжаю идти к своей цели. И ничто уже меня не поколеблет.

Качнулась и отъехала влево мохнатая гора, и навстречу поплыла узкая и длинная деревня. Действительно Падь и действительно Каменная. Зажатая между двух громадных гор, узкая и извилистая долина

была застроена добротными домами, обильно дымившими в безветрии.

Что меня ждет в этом селе с таким красивым названием?

2

Юра Домбровский оказался мужиком что надо. Мало того, что мы с ним съездили к козоводам, он помог мне и в другом.

В седле я ездить не привык, и через какие-то полтора десятка километров порядком устал, но разговор с бригадиром вполне стоил того, чтобы мотаться по горным обледенелым дорогам. Бригадир был человеком прямо-таки влюбленным в свое дело. Это не козы, если его послушать, это чистейшее золото, живые рубли, настолько это выгодно хозяйству. Словом, он разложил мне все по полочкам. За каких-то полдня, проведенных в бригаде, я чуть-чуть сам не стал козоводом. Мне казалось, что я знаю этого бригадира сто лет (вот уж кому на роду написано быть агитатором), и уезжать от такого обстоятельного мужика не хотелось. Но мне нужно было главное.

Мы возвратились в Каменную Падь поздно ночью, и я впервые ехал на вершине по ночной дороге, таежной и горной...

Утром Юра сопровождал меня на кордоне, где жил Маслов. Ничего не подозревавший, Юра Домбровский всю дорогу до кордона напичкивал меня самыми различными сведениями о нем. Так что к концу пути, длиной в сорок километров, я знал о Маслове буквально все: привычки, манеры, что любит, чего не любит. Мы договорились, что Юра представит меня отпускником. Это для того, чтобы Маслов ничего не подозревал. Юра думал, что так мне будет удобнее собирать материал для очерка о прекрасном леснике Маслове. Он был недалеко от истины, но всей истины знать ему пока не надо было. Кроме того, мы договорились, что ровно через неделю, когда вертолет будет улетать из Каменной Пади, он заберет меня на кордоне, если к этому времени я не спущусь в деревню.

Маслова я представлял себе не таким. Я думал, он скрытный, угрюмый, с тяжелым взглядом, нелюдимый человек. И ошибся. Иван Маслов оказался упитанным и розовощеким мужчиной, разговорчивым и веселым. То ли он устал от одиночества на кордоне, то ли просто общительная натура, но встретил он нас радостно, чуть не расцеловал.

Пока Юра рассказывал, как 'здорово (якобы!) мы отдыхали с ним на Рижском

взморье, да как он тогда зазывал меня заехать к нему в Каменную Падь, посмотреть Сибирь, отдохнуть от университетской работы в Ленинграде, в своем вечно сыром Питере — пока он эту легенду самым добросовестным и неуклюжим образом выкладывал, я осмотрел комнату. Приметил гитару. Краска на грифе была потерта, и дерево отшлифовалось только на пяти верхних ладах. Наверное, играет он (или его жена) довольно часто и примитивно, если обходятся всего пятью ладами. «Подгорную», «Васильки», «Золотые вы песочки» — роскошный репертуар многолетней выдержки, неведомый теперешней молодежи.

Гитара — это хорошо, на этой теме мы с ним можем найти общий язык.

Юра посидел часика полтора и засобирался в путь, вниз, домой, и тут я остановил его:

— Юрий Алексеевич, а чемоданчик-то мой мы с вами забыли. Так он и остался в сельсовете на окне стоять. Мне-то он тут не очень нужен, но вы уж присмотрите там за ним...

Домбровский заохал, засуетился, хотя отлично знал, что никакого чемоданчика у меня и в помине не было. Я только сейчас подумал, а что если Маслов вдруг документы спросит, почему их у меня не окажется? Не насторожит ли это его? Документы я специально у Юры в Каменной Пади оставил, чтобы Маслов не узнал, что я из Крутоярово.

— Ценностей в нем особых нет, но там мое служебное удостоверение и паспорт.

— Ну что вы, Пантелей Степанович! Невысокого же вы, однако, мнения о наших жителях. Все будет в целости и сохранности. Я к вам приеду дней через двадцать. Не надоест он вам? — повернулся он к Маслову.

— Не-е-е-т, — засмеялся Маслов, морщинки собрались около глаз. — Пусть хоть год живет. Пьющий? — Это уже ко мне.

— Конечно, — с готовностью подтвердил я. — А вот и для знакомства. Из Ленинграда, — сказал я, доставая из портфеля бутылку. Коньяк был действительно куплен в Ленинграде, только привез его нынешним летом не я, а Юра.

Маслов с увлечением разглядывал яркую этикетку, брызжущую золотом. Где это я видел еще такое увлеченное лицо? Ах да, с такой же любовью зам разглядывал книги — умиление, удовольствие, нежность. С таким же выражением лица шеф спрашивал меня о «теще Лизавете», думая, что она молода. С таким же выражением

лица Заикин просматривал газету «Советская торговля»: он гладил ее, восторгался (ах, новый магазин открыли! ох, какая громадина этот суперсам!), негодовал (скоты, растрату допустили, я бы их распопер из магазина!), одним словом, он купался в газете «Советская торговля», как хороший музыкант купается в музыке. Так вот теперь и Маслов наслаждался созерцанием коньячной этикетки. И я отметил про себя: значит, любит выпить. А у пьяного на языке, что у трезвого на уме...

Контакт как будто стал налаживаться: Маслов полез в шкаф, достал рюмки, начал приглашать к столу. Юра засобирался. Словом, все складывалось нормально.

Вошла Дарья, крепкая и ладная баба лет сорока пяти-пятидесяти. Хмуро глянула на рюмки, ничего не сказала.

— Может, мне с Юрием Алексеевичем и уехать? А? Ваня? А оттуда на Воронке. Денька три-четыре и пробуду всего.

— А что? — хохотнул Маслов. — Езжай! Трех же дней тебе не хватит. Оставь на неделю. Мне теперь не скучно будет с Пантелеем-то. Если что, так подмогнет.

Долго я смотрел, как два всадника — Юрочка Домбровский и Дарья — спустились по дороге в распадок, оставляя меня здесь. Юре я еще раз наказал передать вертолетчикам, чтоб забрали меня ровно через неделю. Я тогда еще не знал, что именно выйдет из моей затеи, но чувствовал себя скверно.

В деле Клинцовых я постоянно находилсь среди людей. Здесь же я один на один с человеком, которого мне надо «вычислить». И вдалеке от людей, высоко в горах, на таежном кордоне...

ЗАПИСЬ ДЕСЯТАЯ

Странная это была ночь. Никогда бы не подумал. И началось все с гитары. В этом улыбчивом мужике была заложена изрядная доза сентиментальности.

Он нажарил мяса, я помогал ему и рассказывал, как я живу в Ленинграде, как надоела преподавательская работа, летом и в отпуск не сходишь — то выпускные, то приемные экзамены, уйду в газету, мол. Вот отдохну тут на кордоне деньков двадцать или даже больше, наберу весу да жиру, приеду и подам заявление. Журналистом все-таки лучше, зря я в свое время ушел из газеты. Ну и все в таком же духе.

Потом мы поужинали — повар он ока-

зался отменный, натренировался здесь на кордоне. Пили с ним, а пил он много. Потом стали на гитаре друг другу разные вещи играть. И петь. Сольный концерт вышел. Оказалось, что любит он старинные романсы, но ни одного полностью не знает. И я всю ночь напролет ему пел. Выдал все, что знал. А он только подливал и дважды еще варил мясо.

Легли мы с ним поздно, и я все боялся, что он в моем портфеле найдет магнитофон.

Когда я согласился ехать в Каменную Падь и шеф дал мне машину добраться до стоянки геологов, я по дороге забежал домой, надел полушубок, переложил кое-какие вещички в портфель, магнитофон и несколько кассет. У Юры Домбровского после возвращения из бригады целых два часа возился, пока не приделал микрофон. Теперь он был скрыт от глаз, и если слегка приоткрыть портфель, то включить магнитофон дважды два, потом портфель можно закрыть, запись все равно будет качественной. Пришлось, правда, в нескольких местах попортить кожу портфеля — не беда, зато может пригодиться для записи, которой потом цены не будет.

Перед сном я достал из портфеля и положил на стол полотенце, пасту, мыло, книжки, а вот портфель убрать забыл. Но на этот раз обошлось — утром я увидел, что портфель его не заинтересовал и он к нему не прикасался.

Следующие ночи как две капли воды были похожи на первую. Днем я помогал ему немного по хозяйству, мы шатались по тайге, разговаривали. Я рассказывал всякие разные штучки из моей жизни. Его ни о чем не спрашивал. Когда он заводил разговор о себе, я всегда находил какой-нибудь вопрос для отвлечения. Мне надо было, чтобы он постоянно чувствовал, что он просто лесник, у которого я отдыхаю, что я о нем тотчас забуду, как только уеду. Я не выказывал к его персоне ни малейшего интереса. Надо, чтобы он порывался рассказать, и, наконец, когда это случится, чтобы был откровенен, а уж на тему я его наведу.

К концу четвертого дня анекдоты иссякли, песни кончились.

И он меня буквально замучил вопросами. Увидев книжки на немецком и испанском, он поминутно спрашивал — а это как будет по-испански, а это как по-немецки? Я старательно отвечал, мучительно копаясь в опустевшей лексической кладовой. Вполне возможно, что он знает немецкий. Возможно... Родилась новая версия: может,

он законсервированный агент? Тогда мне немедленно надо скрываться, иначе спугну. Пусть в действие вступают иные силы (меня эта мысль ужаснула уже здесь, на кордоне, но отступать было некогда, и я успокоился — надо быть круглым идиотом, чтобы консервировать агента в такой опасной близости от родных мест).

Может, он дезертир? Вероятнее. Но откуда похоронная? И как быть с документами? Они у него в порядке, если столько лет живет открыто. Только отчество не сходится. Ничего особенного — могла быть и ошибка: Моему среднему брату в этом отношении тоже не повезло. После школы получал паспорт, пошел за справкой в сельсовет, а там какая-то грамотейка написала фамилию неправильно, он сразу-то не глянул. А когда паспорт выписали, ошибка обнаружилась. Начальник паспортного стола наотрез отказался менять паспорт, пришлось менять аттестат. И вот теперь я — Крученов, а брат у меня — Крученых. Так что ошибка не исключена.

Словом, я жил у Маслова и ни на миллиметр не приближался к цели, не торопил, не форсировал события. Просто потихонечку накапливал данные. В основном наблюдал. Теперь я не сделаю больше ошибки. Если надо, возьму отпуск и поеду в архив Министерства обороны, обращусь в компетентные органы, но выясню, вычислю этого Маслова. Не беда, если сейчас не получится, не раскроется он. Главное, установить, что этот Маслов — это тот Маслов.

А время двигалось, время летело. На следующий день должна была приехать Дарья, и мое положение могло усложниться. Вечером надо попросить семейный альбом, и если в нем есть его военные фотографии, сделанные после сорок третьего, выкрасть хотя бы одну. И надо посмотреть военный билет. Где он служил, где войну закончил? Запомнить номера частей. Если я получу хоть это, моя поездка не будет напрасной.

Значит, в этот вечер, последний перед приездом Дарьи, надо заводить разговор о войне...

СОРОКОВЫЕ

1

К лету сорок третьего года, когда развернулось знаменитое танковое сражение под Прохоровкой, когда только начиналось то, что впоследствии войдет во все учебни-

ки истории под названием Курской дуги, Иван Филатович Маслов имел за плечами уже полтора года пребывания в армии. Правда, боевого опыта у него не было. За это время ему не только не удалось ни разу выстрелить в противника, не считая картонных мишеней на учебных стрельбах при формировании, но и фашистов-то он видел лишь пленных. И ненавидел их, ненавидел люто, поскольку они несли ему смерть...

Он боялся смерти. Казалось, что она подстерегает его всюду. Но судьба его пощадила: его оставили писарем в месте формирования. И хотя это было не так далеко от фронта, но все же и не на фронте, куда он попал только через полтора года. Но и здесь судьба его миловала. Хотя однажды он был на волоске от смерти, когда пришлось ползти по открытому полю среди дымящихся подбитых танков. Ползти целых два километра, ежесекундно ожидая, что взорвется боеукладка какого-нибудь горящего танка или тебя подстрелит немец, убьет из-за вот той опрокинутой и горящей автомашины. Или...

Он понял тогда, что идет в гости к смерти, и заколебался. А приказано доползти в расположение залегшей в овраге роты, может, ее там уже и не было... Но нет, время от времени там вспыхивала перестрелка. Но зачем ему туда? Сказать, чтобы держались, что вот-вот подойдут танки. Связь нарушена, капитан приказал... Проще всего приказать. Труднее и приказ выполнить, и остаться в живых.

Он полз, стараясь не смотреть по сторонам — на опрокинутые танки, сгоревшие остовы машин, наткнулся на трупы. Он и сам мог вот так же лежать в открытом поле, на ветру... Нет! Потом он видел, как выползли из оврага танки, пять или шесть тридцатьчетверок, и как тут раздался залп немецкой батареи, почти в упор, прямой наводкой. Один танк вспыхнул, крутнулся на месте и остался стоять гигантским факелом.

Маслов смотрел на это, а молоточек в его голове, стучавший: смерть, смерть, смерть, когда он полз, теперь стучал: бежать, бежать, бежать. Куда бежать? Как спастись? Чем-то упругим толкнуло в спину, он упал, больно ударившись лицом о что-то твердое и, тихонько поскуливая, пополз вперед. Бой затихал, вернее, перемещался в сторону немцев.

И тут он вдруг успокоился. Причем настолько, что сам удивился своему спокойствию. Мысль, пришедшая ему в голову, была простой и надежной. Маслов встал на

колени около разбитого грузовика, оторвал кусок свисавшей резины, через которую ранить себя можно без ожога... Он уже твердо решил: ранение — это все же не смерть. И готов был уже взвести курок, когда совсем близко увидел лежащего навзничь солдата... Маслов вздрогнул, узнав в нем своего однофамильца.

Как писарь, он знал, что в их батальоне есть еще один Маслов. Разговаривал даже с ним как-то — не родня ли? Оказалось, тот детдомовец. Больше того, они и тезками оказались — того тоже звали Иван, только отчество Филиппович. И вот он увидел его и пополз к нему. Перевернул, замер. Тот медленно, с трудом открыл глаза. Маслов стоял перед ним на коленях, тот своего однофамильца, прошептал:

— А, тезка... А меня вот зацепило. Помоги. Век не забуду...

Век! Век жить собирается. И тогда Иван Филатович поднялся, приговаривая: «Сейчас, сейчас...» Поднял винтовку и выстрелил, трясущимися руками достал из кармана убитого Маслова Ивана Филипповича документы, приложил к левому плечу кусок резины, приставил дуло винтовки, зажмурился и выстрелил.

Жгучая боль пронзила его, и он вскрикнул, боясь, что просчитался. Вдруг в сердце? Сначала упала левая рука, потом он переломился в поясе и, все еще стоя на коленях, ткнулся головой в землю, как плохой ныряльщик. И молоточек опять застучал: конец, конец, конец.

Боль все усиливалась, но он уже понял, что останется жив. Правой, здоровой рукой, он подобрал чужой простреленный и залитый его собственной кровью документ, окровавленный, но не обожженный — резина сделала свое дело. Сунул его в левый карман и, придерживая левую руку, поскуливая теперь уже от действительно нарастающей боли, побрел назад, к своим... Окровавленный и грязный, он дотащился до санзвода.

Там ему сделали перевязку, наложили шину — оказалась раздробленной кость руки («перестарался, зато в госпитале дольше пробуду»). Ему надо было сделать еще одно дело — отослать Таське на себя похоронную, а самому навсегда остаться жить другим Масловым. Теперь он, молодой и свободный мужчина, начнет новую жизнь, намного лучше, чем была до сих пор. В нем бродило красное вино надежды. Пресная, как вода, жизнь в захолустье с Таськой навсегда окончилась. Сегодня вода превращается в вино. После войны муж-

чины будут нарасхват, он сможет устроиться в любом городе, найдет себе городскую и будет жить припеваючи. Красное вино надежды бродило в нем, он хмелел от одной перспективы жить в городе — с ванной, телефоном, по вечерам надевать мохнатый халат, как он это видел в кино...

Похоронная пошла по инстанциям, свои часы и медаль, врученную ему на другой день капитаном, он отослал сразу же. Так, в госпитале появился новый раненый — Иван Филиппович Маслов. А в далекую сибирскую деревню пошла похоронка на Ивана Филатовича... И там его, живого, оплакала жена, теперь уже бывшая, потому что того Маслова не было, а этот решил жизнь свою начинать сначала...

2

Здесь он провел много времени, слишком много. Когда рука стала подживать, он упал, спускаясь по лестнице. Рана открылась, добавился сложный перелом. Он терпел боль, сносил насмешки, иронические соболезнования, думая о том, что чем дольше он продержится в госпитале, тем больше шансов остаться в живых.

Он старался ничем не выделяться среди раненых. Иногда даже сетовал, что рана подживает плохо — эдак чего доброго война без него кончится. Но в общем-то все шло нормально. Единственное, что его тревожило — это сны. Он просыпался по утрам и напряженно вслушивался в разговоры, вглядывался в лица раненых — не поболтался ли он о чем во сне. Он стал плохо спать, по ночам ему снился тот Маслов, смотревший, казалось, не в глаза ему, а в душу, он метался и вскрикивал, просыпаясь в холодном поту, но на его бред никто не обращал внимания — многие раненые бредили войной.

Взамен простреленных и залитых кровью документов ему выправили новые, и теперь ему ничто не мешало. В свою часть, разумеется, он больше не попадет, она где-то далеко на Западе. О семье он не вспоминал, он начисто вычеркнул ее из памяти еще там, на ничейной земле. Да если бы и вспомнил, все равно теперь уж он больше до самой смерти не должен показываться на глаза никому, кто его знал. Никому!

На последней врачебной комиссии ему объявили отпуск по ранению. Он не ожидал этого и растерялся.

Дни, оставшиеся до выписки, Маслов провел в большой тревоге. Потом решил

и пошел к начальнику госпиталя, сказал, что ехать ему некуда, нечего травить душу, что он хотел бы, если уж ему положен отпуск, поработать в госпитале как вольнонаемный.

ЗАПИСЬ ОДИННАДЦАТАЯ

1

— Вот говорят, что ваш брат, журналист, вроде видит наскрость всех людей. — Он усмехнулся. — Может, и меня ты видишь?.. Ну и што же там у меня в нутрях?

— Врут, — сказал я, думая лишь об одном — как бы настроить его на воспоминания о войне. — Врут. Может, это те, которые войну пережили, могут видеть насквозь. А я зеленый. Мне всего тридцать.

— Ха, зеленый... Мне тоже тогда было тридцать. Дело не в годах, а в опыте. Нет, скажи — кто я? — опять пристал, этак шутливо даже потыкал меня кулаком в плечо. — Или чужая душа и впрямь потемки?

— Потемки, — кивнул я, взял с глубокой тарелки кусок мяса, сунул в рот и, будто поперхнувшись, выскочил в сенки.

Когда вернулся, он сочувственно спросил:

— Чо? Выдрало, поди? Слабоват, парень. На-ко вот, запей, — он резким движением придвинул бутылку, налил полстакана. — Пей, вреда не будет.

Потом встал и вышел в горницу. Я взял стакан и выплеснул водку под стол, оставив чуть-чуть на дне. Когда он вошел, я со страдальческим видом допивал из стакана.

Он одобрительно засмеялся:

— А ты тоже поддать здоров. Люблю... Это по-нашенски. По-хрестьянски. А я вот тебе тут карточки хочу показать. Ну-ка смотри меня наскрость... Кто я?

У него в руках альбом. Старый семейный альбом. Он его поворошил немного, порылся в нем, достал одну фотографию, положил ее на столешницу.

— Кто ты? Лесник, — сказал я, раздирая мясо руками и отправляя в рот. Даже почавкал слегка для полноты картины. — Лесник. Работаете давно, раз тайгу знаете на своем участке, как свои пять лет, пожалуй, этак двадцать пять—тридцать как работаете лесником, правда?

— Правда, — усмехнулся он. — А что я делал в войну?

— Как что? — спросил я, доставая огурец. Я протянул руку и, задев солонку, оп-

рокинул ее. Время от времени мне надо было делать вид, что я пьян. Сильно пьян. Намного пьянее его.

— Как что делал на войне? Воевал, конечно. Даже скажу где.

— Где? — лицо его стало прямо каким-то озорным, как у ребятишек, когда они кричат — вот и не догонишь, эля!

— Наверное, или в интендантах, или в обозе. А может, в великих разведчиках, в ставке Гитлера. Например, помощником Кальтенбруннера по общим вопросам. Фронтовик, тот, как подохнет, сразу всякие фронтовые байки рассказывать бросается. Истории разные... А ты — нет. Значит, или рассказывать нельзя или вспоминать не любишь. Или рассказывать нечего. А, как я тебя раскусил? — пытаюсь подзадо- рить его.

Осторожно глянув на него, я изумился: он ехидно и тихо, самодовольно смеялся, зажав пухлой ладошкой рот. Потом посерьезнел, даже помрачнел.

Перевернул фотографию. Там были изображены он (его я сразу узнал, хоть он и на четыре десятка лет там моложе), какая-то женщина и ребятишки. Фотография была старая, пожелтевшая, на толстом картоне.

— Сестра, что ль? — спросил я, повергив в руках фото. Наверное, я и в самом деле пьянеть начал, если не узнал на фотографии Тетку-Таську в молодости. Впрочем война так прошла по ней, что и немудрено не узнать в этой полношекой молодичке изношенную старую женщину.

— Да не-е. Это Таська.

— Таська? — спрашиваю холодея: вот оно, ради чего стоило сюда ехать. Вот оно! — Таська? Ну и хрен с ней, с Таськой. Налей-ка мне еще, да спать я лягу. Чего-то напиться мне вдрызг захотелось. Жизнь дерьмовая, с женой вечные нелады, а сына жалко, он у меня молодчина. Налей! Напьюсь я сегодня. Потом болеть буду завтра. Я как выпью больше трехсот, так ни черта не помню. Ни черrrrrrrга! А тут самогон. Это который стакан? Завтра буду спрашивать, сколько я выпил. Это второй? Не-е-е... Второй уже был. Это третий или четвертый?

— Да он, пусто-о-ой, — снисходительно протянул он, поднимаясь.

Оказывается, я выбрал правильную тактику. Не может быть, чтобы он тридцать лет носил это в себе. Теперь, когда он узнал от того шофера, что у него куча внуков, неужели это его не скребет? Сколько лет молчал и теперь смолчит? Удобный слу-

Аржан АДАРОВ

ЛЕНИН И СОЛНЦЕ

По утрам, когда спешу я летом
На работу в нашем городке,
Вижу: в сквере, зеленью одетом,
Ленин солнце держит на руке.

Никакого нет, конечно, чуда.
Просто время — возле девяти...
Ленин солнце поднял из-под спуда,
Улыбнулся и сказал: «Свети!»

Это солнце мой народ веками
Не видал: с нуждою воевал,
Спину гнул под байскими пинками —
Головы поднять не успевал.

По утрам, когда спешу я летом
На работу в нашем городке,
Вижу: в сквере, зеленью одетом,
Ленин солнце держит на руке.

Говорю, предельно откровенен:
Что о совпадениях гадать?
Знаю точно: если бы не Ленин,
Мне бы тоже солнца не видеть!

Перевел с алтайского И. Фоняков

чай — подвернулся пьяный хлюпик, завтра забудет, а с души камень долой, гора свалится. У него уже это прорывается наружу, раз принес фотографию Тетки-Таськи.

Стакана полтора мне еще придется вылить под стол. Но я должен все записать. Пусть с Ряшенцевым у меня вышла осечка, здесь ее не должно быть.

Он, кряхтя, достал из-под лавки бутылку самогона. Я расстегнул рубаху еще на одну пуговицу, закурил, одну руку положив на край стола так, чтобы кисть якобы бесильно свисала рядом с его стаканом, вторую руку в это время опустил в карман. Там у меня было целое приспособление: маленький блокнотик и маленький карандаш. Долго я от нечего делать тренировался таким способом писать, но все-таки выучился. Теперь мои каракули, написанные в кармане вслепую, вполне можно прочесть.

Он налил стаканы до половины. Потом снова взял карточку и, ткнув крепким пальцем в нее, повторил:

— Это Таська.

— Да слышал я уже про эту Таську. Что ты заладил — Таська да Таська. Королева, что ль? Дочь падишаха? Все они...

Я был намеренно груб, чтобы он, разозлившись, начал рассказывать, как и чем дорога ему эта Таська. Это было немножечко наивно. Но намекнул ведь я, что ни черта не помню, как перепью! Значит, боюсь нечего.

Но тут моя система дала осечку. Он зыркнул на меня зло, даже зубами скрипнул. Не выдержал, сорвался, сказал, что я щенок. Что это его первая жена. Что он тридцать лет и даже больше ее не видел. И своих детей тоже. Лицо его было иссиня-красным, с сизоватым отливом. Руки дрожали. Когда наливал, пролил на брюки. Я тоже подставил свой стакан, сказал примирительно:

— Ну, извините, я же не знал. Рассказать надо было. Объяснить, как да что.

Он заплакал пьяными слезами, выдавливая из себя обрывки фраз:

— Я ж ее бросил. Она ж детей подняла... Внуки есть теперь. А я? Ромка уже в армии отслужил... А я? Тридцать лет даже гостинца... А ведь рядом. Рядом! М-м-м-м...

Он крутил головой, стиснув зубы, и мычал:

— Внук в девятую группу ходит... В девятую...

Я положил голову на стол и, чуть смежив веки, смотрел на него. Благо, что свет лампы не падал на меня, а освещал его.

Когда он заговорил с воплями, придыханием и стенаниями, колотя себя в грудь и сморкаясь, наливая себе и пьянея все больше и больше, когда он заговорил, кашляя и вытирая пьяные слезы, я не успевал записывать в своей карманной книжечке имена и факты. Я боялся, что если он меня «разбудит» и заставит снова пить, то большая часть рассказанного останется незаписанной, и я потеряю самый ценный материал — факты из первых рук, а этот материал после столь частых поражений на столь долгом пути сам шел в руки.

Но вот он дошел до войны. Рассказывает уже, как провожали его в армию, как Тетка-Таська положила ему в карман фотографию. Вот эту. Зачем он ее сохранил?

В этом месте мне надо было «проснуться» и включить магнитофон. А вдруг он переменит тему от того, что я «проснусь»? Нет, надо, во что бы то ни стало надо включить магнитофон — говорит он быстро, сумбурно, и я не успеваю записывать.

И я «проснулся».

Во время его монолога я все двигался и двигался головой к краю стола и наконец свалился, опрокинув табуретку.

— Ушибся... Ушибся... — Он поддерживал меня за пояс и бессвязно шептал одну и ту же фразу.

Я резко откинул его руку и заорал песню:

Шоколадная конхветка — ды е...
Еля душечка моя — га...
Что ж ты, Еля, да редко ходишь...
Растерзала да грудь мою...

Он поймал меня, усадил на место. Придавил ладонями мои плечи.

— Нет, ты постой, — хорохорился я. — Ты постой! Тебе говорю — постой! У меня еще папиросы водят-ца...

И я полез в портфель, стоявший на лавке рядом со мной под большой репродукцией «Девятого вала». А в портфеле у меня транзисторный магнитофон на всех мазах: катушечка заправлена, микрофон подсоединен, батарейки новехонькие, только втыкай на запись.

И я воткнул.

— У-ю-юй! Елки-мотовилки! Что-то треснуло! Чего-то разбил или сломал. Хрен с ней. А вот и папиросочки. Закурим, Филиппыч? Иль не будешь?

Я закурил, долго гуляя спичкой вокруг папиросы, бросил одну, горящую, на пол, зажег вторую, наконец пустил дым. Он затоптал спичку на полу, тихонько хлопнул меня ладошкой по затылку:

— Наелся, трандюк! А я ему рассказываю тут...

— Давай-давай, — промямлил я, пытаюсь пить из стакана и расплескивая по столу. Стакан из моих слабых рук покатился. Пока он ловил его, я снова положил голову на столешницу.

— Я вот и говорю, взяли меня писарем, я и рад-то, что на фронт не попал.

— Давай, Филиппыч, — как можно невнятнее сказал я. — Я анекдоты страсть как люблю...

— Это не анекдот, а жисть! — рявкнул он над моим ухом. — Чего ты понимаешь, трандюк... Эх, Таська, Таська... — вздохнул он, потолкал меня в плечо и, убедившись, что я готов, продолжал уже, наверное, так, для себя, лишь бы выговориться. — Знала бы ты... Знала бы ты, как полз твой Ванечка среди танков. Знала бы ты... — Он снова заплакал и снова выкрикивал фразы. Изредка я, «проснувшись», подливал ему и себе в стаканы, и было у меня в этот миг одно желание — встать и собственноручно задушить этого раскаивающегося через тридцать лет предателя, гада, оплакивающего пьяными слезами свою неудавшуюся жизнь... Но вместо этого я в который уже раз ронял голову на стол и притворялся спящим. Время от времени вскидывался и кричал:

— Нет, ты врешь, на Курской дуге танков не было!

— Не загибай, погоны появились после войны!

— Шмайсер — это не автомат, это пушка, Большая Берта.

Ну и так далее.

Потом окончательно свалился и затих. Самое ценное он сказал. Он тоже умолк, потолкал меня в плечо, сгреб и потащил в кровать. Я был повернут лицом к стене и не видел, что он делает. Только бы не догадался заглянуть в портфель. Только бы не догадался...

Слышно было бульканье, потом он крякнул, поскреб волосы, пытался затянуть какую-то песню, ходил, натываясь на табуретки. Только бы не догадался...

Потом заскрипела кровать, и он успокоился.

И меня тоже сморил сон.

2

— А я вчера отключился. Вот до третьего стакана помню, а дальше — полный провал. Помню только, как до кровати добрался...

— Хы, добрался... — усмехнулся он. — Набрался. А до кровати я тебя дотащил.

— Ну? Быть не может. Заливать ты мастер, Филиппыч. Я же точно помню. И не спорь. Допил стакан, сбегал на улицу и лег в кровать.

Он опять рассмеялся, но было в его смехе что-то настораживающее.

— Это не я, а ты прибрехиваешь. Ладно, — добавил примиряюще. — Давай опохмелимся да в баньку сходим. Я ее часа два как спроворил. Выстояла давно. Веничком похлещемся — дак все болести смет. У меня знаешь, какая банька...

Баня была и в самом деле хороша. Сухие бревенчатые стены ее струили ароматный жар, дышалось легко, а когда Маслов зачерпнул ковшиком из небольшой бадейки квасу да плеснул на каменку, я обомлел — тело стало легким, невесомым, каждая клеточка вбирала в себя, впитывала этот крутой обжигающий жар.

Маслов хлестал меня веником, наяривал взаправду, а я только охал да постанывал и терпел, терпел... Потом свалился на пол, высунув голову в приоткрытую дверь, жадно вдыхал колючий свежий воздух. А он пил из бадейки квас, который, как он сказал, был настоян на золотом корне.

Слегка отдышавшись, мы снова полезли на полку и хлестались до одури. Неожиданно Маслов скользнул с полка, ногой открыл дверь, в баню влетело морозное облако, но я все же увидел, как он упал в снег, зарылся в него, удовлетворенно рыча, катался в сугробе.

Потом влетел в баню, грохнув дверь, заскочив на полку, весь в хлопьях подтаявшего снега, и снова стал с остервенением хлестать себя веником по груди, животу, по ногам.

Раззадорился и я не на шутку и тоже выскочил и упал в снег. В тело вонзились сотни тысяч маленьких и сладких, болезненно-приятных иголок. Казалось, что кто-то тер меня на гигантской терке. Было больно и приятно, как бывает приятно только в юношеском сне.

— Ты хлещись, хлещись, а то простынешь, — Маслов лежал на полу, и островки растительности на его теле светились тусклым рыжим светом. Вот он лежит, упитанный и мускулистый мужик, предавший когда-то не только жену и детей своих, но и родину, сумевший уйти от ответа. У меня опять возникло желание схватить его за горло или окатить с головы до ног кипятком... Но нет, нет, этого я не сделаю.

А на чистую воду непременно выведу... Непременно!

— Чо уставился? Давай похлещу... — он жарил мне бока и спину веником, и я забылся опять, очарование бани властно взяло меня в свои объятия, все остальное отошло куда-то прочь, в сторону.

В сибирской бане невозможно думать ни о чем. Невозможно говорить, когда тебя парят. Можно только мычать, рычать, вскрикивать, ахать, охать, побряхтывать, материться. Потому что это — сибирская баня!

3

Я лежал на кровати, а в желудке у меня распускал свои мягкие иглы колючий еж — несколько стаканов чая с таежным вареньем. Голова была легкой, не хотелось ни о чем думать. Но мысли как бы сами по себе рождались, наслаиваясь одна на другую.

Бросить бы к чертовой бабушке свою работу — эту вечную канитель командировок, поездки за сотню верст ради сотни репортажных строчек, эту правду и кривду читательских писем, разобраться в которых не так просто, оставить бы свой редакционный кабинетик и уехать куда-нибудь к чертям на кулички, построить себе вот такой листвяжий дом, дышать круглый год таежным воздухом, ходить на охоту, жрать мясо, ловить тайменей и хариусов, пить чай, настоенный на травах, и не будет ни язвы желудка, ни спазмов сосудов. Будет здоровый, хорошо упитанный мужчина, кровь с молоком. Будут хорошие, аккуратные книги о природе и хорошие, аккуратные стихи, которые легко читаются и легко забываются.

Но разве смогу я так жить — сыто и безмятежно? Без повседневной редакционной спешки и вечной неудовлетворенности? Без острого и постоянного желания что-то изменить и улучшить в жизни? Без сострадания к человеческому горю? Без жгучей ненависти и непримиримости ко всему, что мешают людям жить? Нет, нет и нет — не смогу!

И я это понял наверняка и подумал еще о том, что, к сожалению, слишком много еще вокруг нас всякого зла, вчерашнего и сегодняшнего, открытого и затаившегося, зла и неправды... И мой удел — ни на минуту с ними не мириться. Ни на минуту!..

О какой же другой жизни можно думать...

НЕМНОГО СО СТОРОНЫ

1

Вот и все. Неделя — достаточно. В редакции, наверное, уже беспокоятся. Завтра, а может, и сегодня вечером, прилетит вертолет от геологов. А через день другой в газете разорвется бомба. Да и не только в газете... Нет, Пантелей больше не будет молчать, носить в себе. Он пойдет к Карпу Карпычу, в милицию, расскажет обо всем в редакции, поднимет на ноги всех и вся. И пусть будут судить Маслова, пусть будет процесс. Пусть снова будет больно Тетке-Таське и стыдно за отца Роману и Зое, но пусть об этом знают все. Да и какой он им отец? Он им такой же враг, как и Пантелей, как всему роду человеческого враг. Это нельзя простить. Это нельзя прощать, чтобы не повторялись такие выродки. И неважно, что он стар, что предательство совершено давно, нет, вся жизнь его — предательство. Пусть рассчитывается... Пусть отвечает.

— Буранчик будет к вечеру-то. Займется надолго. Недельку будет дуть, это точно. — Маслов сидел, зажав между колен старый пим. Руки его были в черных поперечных полосах от натертой варом дратвы. Кривое шило воткнуто в столешницу. — Погулял бы ты. Скучно тебе у нас. Мы тут ведь как медведи — привыкли давно, а ты человек новый...

В самом деле, погулять надо. Обдумать до конца. Статья уже сложилась в голове, Пантелей даже видел ее на газетной полосе, но концовка пока не складывалась. Нужна была концовка, а ее не было... Обдумать надо. Ведь тогда обдумал и все получилось. Когда Лариса сказала о своей беременности, он долго гулял под мелким осенним дождем и все думал, думал, думал. Зачем человек живет, зачем и ради чего он кому-то помогает, с кем-то конфликтует, что лежит в фундаменте его поведения, почему он делает так, а не эдак? В конце концов уже вечером он пришел к женщине-архивариусу, благо та жила рядом с небольшим домом архива.

Она долго смотрела на него, потом сказала тихо:

— У вас, говорят, нелады, Пантелей Степанович? Вы, говорят, уезжаете...

— Да, — сказал он, хотя уезжать не собирался. — Да, — сказал он. — Я уеду. Но не сейчас. Где-то в середине будущего года.

Женщина взяла ключ.

Он долго рылся в документах, она терпеливо ждала. Он уже совсем было потерял надежду, как на самом верху наткнулся на толстую папку разноцветных подшитых листов. «Списки членов Алексеевской, Красновоинской и Марковской коммун. 1930 год».

Пожелтевшие, обтрепавшиеся листы. Некоторые разлинованы, другие нет, есть листы оберточной бумаги, есть листы пергамента, в который заворачивали масло. Списки. Имена и судьбы людей, большинство из которых давно умерли или сложили головы в войну, надорвались на тыловой работе или умерли от болезней, погибли при несчастных случаях или спокойно умерли в теплой домашней постели, простившись со своими взрослыми детьми. Кто-то убит, кто-то сгорел, кто-то утонул...

Но они сделали свое дело. Возвели фундамент, на котором теперь стоит наш дом. Стоит крепко и нерушимо. Мы достраиваем стены нашего дома. Наши дети достроят крышу. Вот это будет дом! Светлый, праздничный, просторный, открытый для всех, где будет полным-полно радости, где каждый сможет приложить свои руки там, где бы он хотел. Где будет много настоящих людей и совсем не будет ряшенцевых и масловых...

Последними в списке вновь вступивших в Красновоинскую коммуну стояли Роговы. Настася Польшало. Потом «Польшало» зачеркнуто двумя жирными линиями и сверху написано большими, торжествующими буквами — Рогова. *Рогова!* Ниже стоит его имя — Иван Рогов. Слово «Рогов» написано неуверенно, дрожаще, буквы как бы катятся под горку, словно сжимаются от чьего-то взгляда и хотят стать поменьше, чтобы их не видели.

Пантелею так и представилось — Рогов ставит подпись, а Ряшенцев смотрит на него зло и угрожающе. А утром Рогова нашли мертвым. Упал с забора и ударился головой об окованную ступицу тележного колеса... Кто докажет?

Никто. А вот Блатина — его-то Ряшенцев точно убил. Это стопроцентная точность. Стал к старости в церковь ездить. Это вина? С точки зрения Ряшенцева, это вина и еще какая. В религиозном размягчении духа Блатин мог высказать кому угодно, что у него тяжкие грехи на душе. И ради будущей райской жизни он мог попытаться замолить грехи. И не только перед богом, но и перед властью. Для Ряшенцева это был бы каюк. И выходит, что Блатин сам подписал себе смертный приговор.

Вот и вся история. Так ли она произошла? Должно быть, так. Вот так и представляется дело Блатина, если его хорошенько обдумать.

Тогда он обдумал. Теперь надо обдумать статью о Маслове. Погулять и обдумать.

А почему лесник снова отправил свою Дарью? Вторые сутки уже не является. Завтра прилетит вертолет. Ни в коем случае не расспрашивать больше Маслова, что было дальше, после демобилизации, где воевал после госпиталя. Ни в коем случае! Может заподозрить неладное. А расправиться здесь, у чертей на куличках, когда они вдвоем, дважды два. Ушел, мол, позавчера. Отговаривал я его, дак он не послушал. Першком ушел. Или еще что-нибудь придумает. Ну да поглядим, поглядим, как поговорится.

Пантелей взялся за свой толстый дубленый полушубок. Маслов проворно встал, снял с гвоздя фуфайку, протянул:

— Надень вот, легонькая. А то запарься на снегу-то в своем тулупе...

Лесник был неприятно заискивающий и в то же время настойчив. С чего бы это? Руки суеются, глазки выжидательны.

— Да нет, я далеко не пойду, — сказал Пантелей, надевая шубу. — Поброжу здесь рядышком, подышу.

— Ты в той стороне не был? — Лесник ткнул большим пальцем через плечо в сторону окна. — Там распадок такой, залюбуешься. Сходи, сходи. У вас-то нет такой красоты. А то надел бы куфайку-то...

— Ничего, — отказался Пантелей и открыл дверь. Холодный воздух мягко толкнулся в грудь. Монотонно шумели сосны, шум их успокаивал. Он побрел наугад. И вскоре вышел на лысый пригорочек и увидел внизу между сосен, что тропиночка кончается, хотя и далеко. Будто кто-то специально вытоптал ее и осторожно вернулся назад по своим же следам. Он усмехнулся: что за тупик? И вправду тупик...

И тут же заметил веревку, натянутую между двух сосен. Они были стары и давно высохли, эти сосны, и под ними набралась большая гора сухого валежника. Веревка тщательно припорошена снегом, чуть видна. А ведь снега не было давно, с самого приезда. Свежая тропинка шла между двух сосен. И дальше. За веревку, припорошенную снегом.

Пантелей вспомнил: когда-то в соседском саду росли маленькие сибирские яблочки, и соседка, оберегая их от мальчишек, натягивала между яблонями веревку.

И как только мальчишки в темноте задевали ее, на веранде с грохотом падала большая связка пустых консервных банок.

Пантелей улыбнулся. Небось и здесь тоже своя сигнализация... Прыгнуть? Интересно, что у него в доме загремит? Пусть всполошится Маслов... И Пантелей, усмехаясь, представил всю эту картину целиком, помедлил еще чуток и прыгнул на веревку. В ту же секунду он заметил, что веревка новая. Молнией мелькнула мысль — а вдруг...

Тупой удар опрокинул его лицом в снег. Сгоряча он завернул руку за спину и нащупал воткнувшуюся между лопатками толстую палку. Понял: пика от самострела. На медведя, наверно, ладил... А может, и не на медведя... Выдернуть ее, сил уже не было.

Потом пришла боль.

Где-то в уголке угасающего сознания зафиксировалось знакомое, странно знакомое лицо.

2

Человек появился из-за сосны. Постоял. Посмотрел на лежащего вниз лицом Пантелея. Подошел. Выдернул пику. Перевернул его на спину. Большим пальцем придавил его распахнутые веки. Закрыв их — они были еще теплые.

Не торопясь, нагреб снегу. Забросал тело. Делал все не спеша. По-хозяйски. Размеренно. Торопиться некуда. Кругом ни души. И не будет до весны никого. Вертолет залетит за этим правдоискателем, а его нет... Не дождался, решил, мол, своим ходом добираться. Ушел... И все. В заказниках лес не заготавливают, на то он и заказник. Так что до весны — никого. А до весны и тела не будет. В три дня растащат звери.

Он хладнокровно скрутил сигарку. Посидел на корточках возле снежного холмика. Покурил. Бросил окурочек в снег. Тяжело поднялся. Пошел прочь. Не оглядываясь.

Свое дело он сделал.

3

Шапка при падении слетела. Снег попал за шиворот. Замерзли голова и лицо.

Холодно. Синеет день. Удивительно синий день...

Пантелей приподнял голову, глянул через темную пелену в глазах и с трудом сообразил — что такое. Полушубок придавливал к земле, атели застывшие комья пропитанного кровью снега.

Он дважды терял сознание, пытаясь достать спички. «Спасибо тебе, Миша. Спасибо за твои якутские спички. Друг ты мне теперь большой. На всю жизнь. На всю. Хорошо придумал».

Он развернул вытасненный из маленького кармашка, пришитого внутри полушубочного обшлага, пластиковый мешочек — там лежали спички. Несколько опасных, их можно чиркнуть обо что угодно. И несколько термитных, которыми северные связисты сваривают провода.

«И про термитные, или как их еще там называют, тоже хорошо придумал, Миша. Жив буду, приеду, расцелую».

Спичка зажглась сразу, об рукав полушубка. Потом загорелась и сварочная. Он, боясь пошевелиться, щелчком послал ее в сторону валежника под сосной. Промаяхнулся — спичка догорела в снегу, пошел парок, осталась лишь небольшая проталинка.

Тогда он зажег еще одну сварочную. На этот раз валежник загорелся: Старая сосна занялась сразу: тоненькие и слабые вначале змейки огня робко побежали вверх, зазмеились огненные струйки, затрещали ветки, запахло дымом и смолой — и вот в безветрии раннего вечера сосна горела, как огромная свеча.

Он смотрел на эту последнюю в его жизни свечу, смотрел снизу, насколько можно, вывернув шею и лежа на животе. И вдруг услышал шум винтов.

«Ну вот, — с каким-то болезненным удовлетворением подумал он, — Начинаются галлюцинации. Сейчас ко мне будут бежать люди. Потом меня куда-то понесут. Потом мне станет тепло, и я засну. Чтобы больше не проснуться. Так все замерзают».

Шум винтов усиливался.

«Но ведь мне холодно! А когда люди замерзают, им райски тепло. Всегда тепло и в сон клонит. А я не хочу спать. Люди и в самом деле бегут. Я схожу с ума. Как писал в последнем своем письме Мопассан, месье Мопассан превращается в скотину. Так и у меня. Пантелей превращается в идиота. Обидно на последних часах жизни стать идиотом. Хорошо, что об этом никто не узнает».

А Маслов будет ходить по земле. Будет ходить, как ходит Пасечник, на которого у тебя не хватило силенок. Вот и тепло стало. Тепло? Нет, холодно. Надо ушипнуть себя...»

В дальнем углу пригорка, освещенного этим высоким костром, снова мелькнула странно знакомая фигура.

«А ведь Маслов тогда из бани вышел вперед меня. На каких-то полминуты. Мог залезть в карман. Найти блокнотик. Прочитать две-три фразы — этого достаточно.

Или когда я спал после бани. Залез в портфель, нашел магнитофон и кучу кассет. И все понял. Как бы то ни было, а он знает, что я в ту ночь не спал, что записал или запомнил его рассказ. Что он теперь уязвим. И он стал лихорадочно действовать. То, что он меня под самострел загнал, доказывает, что его рассказ не пьяный бред. А самострел он готовил и заряжал сегодня утром, пока я спал. Не хотел ни руками, ни ружьем. Холодно... Но зачем, для чего он все рассказывал, утратив осторожность? Хотел меня под самострел, а, выходит, на себя его ставил... Да нет, что ему доспелся. Вот он на меня смотрит. Вот он смотрит и радуется. Правильно радуется. А я дурак. Опять все в одиночку. Много хотел сделать и сказать. И многое сказать и сделать не успел. Не так надо было. Не так».

Он хотел приподняться и посмотреть на Маслова, который неподвижно стоял в конце лысого пригорочка, но слабые руки подгнулись, и Пантелей ткнулся лицом в комок смерзшегося красного снега. Все!..

...Его несли к вертолету, и последней его

мыслью было: почему Маслов так настойчиво совал мне фуфайку?

Он еще не знал, что от неминуемой смерти его спасла толстая кожа дубленого армейского полушубка.

* * *

Женщина, увидев, что он открыл глаза, привстала, убирая вязанье, и он, растопырив два пальца, показал, что надо воткнуть вилку в розетку. Та взяла вилку и протянула ее куда-то за него.

Засветился индикатор.

Одной рукой он пощелкал клавишами, настраиваясь. Сказал в микрофон, следя за бегающей стрелкой:

— Запись рассказа журналиста такого-то, сделанная в больнице города... — Запнулся и умолк.

Перематывая, подумал, что фамилию свою он, слава богу, еще помнит, а вот что касается больницы и города, тут полная тьма.

Прослушал и остался доволен. Затем стер записанное и вернул пленку к самому ракорду, снова взял в руки микрофон и, насколько мог, четко выговорил:

— Запись первая...

Итак, первый шаг был сделан. Дальше пошло легче.



Марк Иосифович Юдалевич родился в г. Боготоле Красноярского края в 1918 году. Детство и юность прошли в Барнауле. Затем учился в Омском педагогическом институте, где работал преподавателем до начала войны.

Первые стихи напечатал во фронтовой газете.

После войны вернулся на Алтай, работал в краевых газетах, возглавлял писательскую организацию.

Автор многих книг стихов и прозы, вышедших в Барнауле, Новосибирске, Москве.

Член Союза писателей СССР.

Марк ЮДАЛЕВИЧ

НА ПЕРЕВАЛАХ БЫТИЯ

ОБЬ-РЕКА

Мы любили с детства-малолетства
Обь-реку, что светлая текла.

Научились мы в нее глядеться,
а потом смотреться в зеркала.

И еще про нас гуляла слава,
будто не успели нас родить,
мы сначала научились плавать,
много позже по земле ходить.

Обь-река! Отнюдь не узкой лентой
ты текла, спокойна и строга —
были со середины даже летом
трудно различимы берега.

И на нашей улице Олонской,
что там ребятишки — старики
неизменно верили, что солнце
по утрам выходит из реки.

А под вечер, уходя на запад,
на ночь где-то прячется на дне.
Обь-река! Я помню даже запах
на родной приречной стороне.

Терпкий запах смолки и живицы,
неизбывный аромат хвои.

Обь-река, со щедростью царицы
ты дарила нам дары свои.

Гордые — на удилице связка —
помню, возвращались мы с реки,

и сверкали щучки и подъязки,
чебаки, стерлядки, окуньки...

Мы любили с детства-малолетства
Обь-реку, что светлая текла.

Научились мы в нее глядеться,
а потом смотреться в зеркала.

КУПЕЧЕСКОЕ СЛОВО

Известный ученый прошлого века барнаулец
С. И. Гуляев безвозмездно, но с условием не на-
бивать цены передал местному заводчику открытый
им краситель для овчин. Заводчик не выполнил ус-
ловия и нажил на знаменитых шубах-барнаулках
огромный капитал.

Извечный торг по мелочам ярился —
свистал аршин, плескался фидешин,
шелка шуршали, и металась ситцы,
когда вошел ученый в магазин.

Склонил пробор приказчик белозубый,
надев любезнейшую из личин:

— Прикажете борчатку! Чудо-шуба
из барнаульских крашенных овчин.

— Позвольте-ка! Да это ж мой краситель!
Откуда ж столь высокая цена?

Хозяина немедля позовите,
за это он ответит мне сполна!

— Они сейчас на фабрике, хозяин,
отсюда, почитай, в семи верстах.
Прощенья просим, но никак нельзя им,
чтоб сразу оказаться в двух местах.
Ученый вышел. Сел в свою кошевку:
— На фабрику! Да шибче погоняй.
Так вот она торговля по дешевке!
Мошенник! Он попляшет у меня!
Нет, как он приходил ко мне с поклоном,
как уверял: «И мы не без креста!»,
божился, плакал, клялся на иконе
и призывал в свидетели Христа...
Хозяин был медоточив и сладок:
— Какая честь для нас, для мужиков!
Ползло радушье из морщин и складок,
из бородавок и жировиков.
— Забыли вы, что я дарил вам краску
не для того, чтоб цены набивать!
Хозяин возражал, как прежде, ласков:
— Да можно ли такое забывать!
Борчатку вам пришлют сегодня на дом,
вез всякой платы, что там деньги — дым!
Ученый возражал — ему не надо!
— Вы мне скажите — сбавите другим!
Купец пожал массивными плечами
и вымолвил, спокойствие храня:
— Лишь только вас касалось обещанье,
а вы, видать, не поняли меня!

ОДНА СЕКУНДА ИЗ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕХСОТ ВОСЕМНАДЦАТИ ДНЕЙ ВОЙНЫ

Обожгло меня горячим ветром,
укололо струйками песка.
Может быть, в каком-то миллиметре
пролетела пуля от виска.
Пролетела и ушла в недальний,
люто искореженный лесок.
Говоря отнюдь не фигурально,
я от смерти был на волосок.
Но о ней не думалось, о смерти,
самый воздух, кажется, кипел.
В сатанинской этой круговерти
даже испугаться не успел.
Лишь теперь, когда возникли скопом,
грохот, рокот, посвист горовой,
померещилось: на дне окопа
я лежу с пробитой головой.
Я уснул. Скажите, что мне снится!
Видят что стеклянные глаза!
Я уснул. И стынет на ресницах
каменная мертвая слеза...
Говорят, прошедшего не троньте!
Но тяжелый неизбывен след.
Испугаться не успел на фронте,
только вздрогнул через тридцать лет!

Георгию Егорову

Нас все меньше и меньше,
пришедших с той давней войны,
где добыли когда-то
награды, раненья и славу,
и все чаще нам снятся
цветные военные сны,
снится черный туман
и тяжелые красные травы.
Нас все меньше и меньше,
пришедших с той давней весны,
пули нас пощадили,
но годы наносят утраты,
нас все меньше и меньше,
но людям все больше нужны
мы, которым в окопах
на зрелость даны аттестаты.
Нас все меньше и меньше,
стоявших стеной под Москвой,
сорок месяцев длинных
торивших дорогу к Берлину.
Ах, лихие гвардейцы
далекой второй мировой,
вам прописан покой,
вы лекарства глотаете чинно.
Нас все меньше и меньше,
нас годы ведут под уклон,
и былые раненья
берут в окруженье,
и надвинется день,
ведь времен непреложен закон,
и исчезнет последний
участник великих сражений.
Будет ясным тот день
или дождь будет лить,
или лютый мороз
воцарится сурово.
Люди, люди! Старайтесь
тот день отдалить,
ведь исчезнет из песни
какое-то слово.

ХЛЕБНАЯ БОЛЕЗНЬ

Нет, вы не слышали о хлебной болезни,
и книги ученые здесь бесполезны.
На строгий учет не взяла медицина
истоки недуга, симптомы, синдромы,
но тем, кто едал «аржануху» с мякиной,
симптомы знакомы. Без книги знакомы.
Я знаю в степной Кулунде тракториста —
под цвет ковыля голова серебрится,
и детство военное помнится глухо,
и видится зыбко, и кажется странным,
вот только пшеничного хлеба краюха
торчит из кармана, торчит из кармана.

И нет равновесия, нету покоя,
покуда ее не коснется рукою.
«Москвич» в гараже, а не в стайке Карюха,
и славен колхоз миллионным богатством,
а с этой пахучей пшеничной краюхой
не может расстаться, не может расстаться.
Не в силах, не волен ни дома, ни в поле,
ни в будни, ни в праздничном пышном застолье.
...Нет, вы не слышали о хлебной болезни!
И книги ученые здесь бесполезны...
Шумит океан кулундинской пшеницы,
как гордых новин золотое присловье,
шумит океан, океан колосится
сибирским, охватистым
хлебным здоровьем.

ПОВО-АФОНСКИЕ ПЕЩЕРЫ

Сокрыты мраком каменные своды,
сюда дневной не проникает свет,
но под землей художница-природа
кудесничала миллионы лет.
Есть поговорка — капля камень точит,
а эти капли — вечности гонцы,
как будто самый терпеливый зодчий
здесь воздвигал и башни и дворцы,
оттачивали крепостей громады,
в тяжелых патах грозные войска,
по стенам рассыпали водопады
из розоватого известняка.
Века менялись, пролетало время,
но не спеша стучали капли те,
не ожидая ни награды, ни премий,
работала природа в темноте.
И посейчас шлифует, красит, точит
и создает шедевры красоты,
как будто лишний раз напомнить хочет:
служенье муз не терпит суеты.

ГУДАУТА

Гудаута, Гудаута, Гудаута...
Познакомился я с этим городком,
но мне кажется, как будто Гудаута —
имя женщины, с которой незнаком.
В этом имени есть мягкость и певучесть,
и заоблачность, и грусть, и чистота.
Гудаута — чья-то нежность, чья-то участь,
чья-то радость, чья-то боль и маета.

Гудаута — чья-то светлая минута!
Нам написано, наверно, на роду —
все мы ищем, не находим Гудауту,
неоткрытую, далекую звезду!

*

Не стал я поэтом большого масштаба —
большая поэзия не по плечу.
Зачем же строкой риторичной и слабой
смеюсь и ругаюсь, молю и кричу!
Я толком об этом сказать не сумею,
наверное, певчее что-то в кроли,
и разные птицы навряд ли немеют,
когда вдохновенно поют соловьи.

*

Не боюсь умирать,
уходить за черту.
Только жаль оставлять
эту всю красоту.
Птичий ласковый свист,
крыльев быструю тень,
недописанный лист,
неизведанный день.
Жаль дороги разбег
и портов тетиву,
тополинный проспект,
на котором живу.
Что ж, закроют глаза,
как наступит предел.
Жаль, что робко дерзал,
жаль, что тихо кипел.
Мало книг пролистал,
мало стран повидал
и не всем подлецам
по щечине дал.

*

На перевалах бытия
копите мужество, друзья,
копите жадно, как гобсеки,
набейте мужеством отсеки.
Копите мужество, копите,
коли достойно жить хотите:
настанет день, настанет час,
оно одно поддержит вас.



Измаил Львович Лагранский родился в г. Николаеве в 1940 году. Окончил Алтайский политехнический институт, работает на Алтайском моторном заводе. Член литературной студии при Алтайской писательской организации. В альманахе «Алтай» публиковались очерки.



И. ЛАГРАНСКИЙ

НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК

РАССКАЗ

К новой работе Тронин привыкал трудно. Все в конструкторском отделе выглядело странным и непривычным: длинный, тягучий день, тоскливая тишина, лишь изредка нарушаемая негромкой перепалкой кого-нибудь из техников-деталировщиков с мрачноватым ведущим конструктором Серовым, глядя на которого Тронин всякий раз ловил себя на одной и той же мысли: когда-нибудь они неминуемо схлестнутся, и это будет не безобидный спор, а ожесточенная схватка двух антиподов. Он старался прогнать эти неприятные ощущения, но они возникали вновь, порождая необъяснимую неприязнь к Серову, к которой примешивалась еще и непонятная робость.

Постигая отделовский труд, Тронин с тихой, покаянной грустью вспоминал цех шестерен, которому верой и правдой служил все десять послеинститутских лет.

Тронин, конечно, представлял и раньше, что конструктор не может ступить и шага без справочников, всевозможных нормалей и стандартов, что должен знать на зубок или по крайней мере легко ориентироваться в набивших оскомину еще в ин-

ституте сопромате, гидравлике, теории механизмов и машин, но что придется от бессилия кусать губы и паниковать от того, что простые, многократно виденные в цехе железки превращались на листе ватмана в немислимые хитросплетения линий — этого он представить себе не мог.

И оттого, что он привык полагаться больше на самого себя, и оттого, что не решался обратиться к кому-нибудь за помощью, его жизнь в отделе поначалу приняла довольно мрачные очертания. Самое неприятное началось, когда Тронин с грехом пополам начертил свой первый общий вид и принялся высчитывать размеры этих коварных железок. Цифры путались, лезли одна на другую, он морщился, закрывал глаза, мысленно выстраивал деталь за деталью, но сколько бы раз ни повторял остервеневшие расчеты, никак не мог выжать из бесстрастной электроники ничего похожего на истину.

Время шло, разочарование переросло в тревогу. А что же дальше? И неизвестно, сколько бы еще корпел Тронин над первыми чертежами и что бы из этого вышло, ес-



Павел БЕСЧЕТНОВ

СКАЖИ, ЕСЛИ УСПЕЕШЬ*

РОМАН

ЗАПИСЬ ТРЕТЬЯ

1

А дела у меня не клеились. Все шло вкривь и вкось, и я считал, что, как пел в свое время Утесов, — «пора вещички складывать». Но я не мог бросить Крутоярово. Теперь я буду здесь работать, даже если шеф кусаться начнет. Потому что пришло письмо от Фрола Клинцева.

«Здравствуй, Пантелей Степанович! Отвечаю на ваше письмо. Хотя это уже давность, но, конечно, охота бы узнать настоящих убийц. Это дело было первого марта 1930 года. В то время я находился с коммунарскими конями по Крутояровой. В то время, когда случилось несчастье, на кого было подумать? Да еще такой период — коллективизация! После революции как мы жили, у нас никаких врагов не было. После этого несчастья наши родственники, конечно, были не в своем уме. Особенно старший брат Никодим, который похоронил своих родителей и любимую жену с дорогими детьми. Он после был просто умалишенный. Мы с ним почти полгода мучились, а потом он лежал в больнице в Крутояровой. Ему стало лучше. Когда он вошел в полную колею, мы с ним все передумали, кто же все это сделал. Так ничего и не придумали. В тридцать первом он

уехал в Ташкент, врачи велели, чтоб не напоминало. А в конце тридцать первого я поехал в Ташкент присмотреть за ним. Он уже оттаивать начал, был воспитателем в детдоме. Вернулся я в свой колхоз в тридцать третьем.

Но тут пошли разные слухи. Многие болтали на Климку Ряшенцева, он сразу ушел из председателей в пасечники. Но некому было взяться. Сам знаешь, деревня темная была в то время.

Вот у меня разговор получился с одним товарищем, который отбывал срок за наших двенадцать лет. Это Никитка Перепел. Я его случайно в 1959 году в Ташкенте узнал. Он сейчас-то переехал. И мы с женой одно время поехали к ним, как к землякам. Они с женой нас встретили хорошо. Очень хорошо. Ну, как водится, выпили и потом завели разговор об этом деле. Он прямо сказал, сидел зря, на вас мы не в обиде, это был такой период. Да и дела так сложились, все против него. Говорит, плохо, что я инвалид, а то б задавил Гришку-подлеца. Гришка — это мельник.

Вот он говорит, когда он сидел в крае, ему тогда дали двадцать лет и вели в арестантский вагон, на перроне он увидел Климку Ряшенцева. А товарищ, который с ним в одной пятерке шел, сказал ему потом, что этот Ряшенцев был у атамана Анненкова и детей на штыки сажал. А с этим товарищем Никитка сидел вместе и в штрафном батальоне до ранения служил.

* Окончание. Начало в № 4 за 1979 г.

ли бы возле его кульмана однажды не остановился Серов.

— Первый блин комом — так нужно понимать ваш унылый вид, коллега? — улыбаясь, спросил он. — Может, требуется спасательный круг? Я готов помочь.

Тронин ощутил слабую неловкость, но Серов, взгромоздившись на стул, ероша крупную седеющую голову, уже не смотрел на него. Выхватив из бокового кармана острый карандаш, он уверенно исполосовал чертеж красными линиями и, довольный откинувшись на спинку стула, сказал:

— Ну вот! Теперь все стало ясно! Благодарить какая, цифры сами просятся на чертеж.

Тронин нахмурился и покраснел, потому что, как ему казалось, эти факирские манипуляции с карандашом еще больше запутывали.

— У каждого конструктора своя система, — пояснил Серов. — Все очень просто. На поле чертежа наносятся справочные размеры, которые сейчас остались за бортом. Удерживать их в памяти невозможно, да и не нужно. После ж этого сосчитать размеры проще пареной репы. Уловил?

— Уловил, — не очень уверенно ответил Тронин, слегка задетый покровительственным тоном Серова.

— Ну ладно, я пошел, мне сегодня пахать да пахать, но в случае чего не стесняйтесь, — Серов отошел к своему кульману. И Тронину показалось на мгновение, что этот человек, внушавший странную робость, знает что-то такое, что для него, Тронина, скрыто пока за семью печатями.

Тронин хотя и перешел сюда, поддавшись на уговоры начальника отдела Стрепетова, но втайне все же сохранял надежду, что рано или поздно переберется обратно в цех. Он любил цеховую жизнь, у него была своя теория, объяснение на этот счет.

Когда после окончания института он пришел на завод, ушлые кадровики на все лады расхваливали цех, и Тронин, еще толком ничего не понимавший, к их неопикуемой радости, согласился пойти в самое пекло — сменным мастером на участок шестерен.

Он проработал всего лишь полгода, вытащил из прорыва участок, и вскоре был назначен старшим мастером. Возможно, что все те же случайные обстоятельства могли бы остановить его выбор и на другой работе. Скажем, этот же конструкторский отдел — приди он сюда сразу... Так или иначе, но вскоре он обнаружил, что конструкторский

труд его всерьез увлек, и что прежние мысли о цехе постепенно отступают и тускнеют.

Он еще не сделал ни одного сложного проекта, а только подбирался к дразнящим отделовским вершинам, но уже чувствовал приближение приятного, сладостного мига. Он и ждал первое ответственное задание и в то же время старался оттянуть его получение — ему казалось, что недостает еще опыта, и он скомкает проект, навсегда опозорится.

Но Серов, непонятным образом понимавший его состояние, всякий раз останавливаясь у кульмана, загадочно говорил:

— Потихоньку осваиваешься? Вот погоди, мы с тобой скоро такую машину сварганим — закачаешься.

— Отчего же не сварганишь, сварганим, — в тон ему отвечал Тронин, и ему доставляло большое удовольствие думать, что Серов принимает его всерьез, выделяет среди других конструкторов.

— Ничего, ничего, не боги горшки обжигают. Развяжусь с этим дредноутом, — Серов тыкал коротким пальцем в сторону своего кульмана, на котором был приколот полуобведенный чертеж общего вида мочечной машины, отдаленно напоминающей приземистую плоскодонку, — и засядем изобретать одну штуку. Есть светлые мысли, но одному не справиться...

Но скоро все неожиданно и круто изменилось. В конце лета уволился начальник бюро, о котором все говорили, что он ни рыба ни мясо. Несколько дней в бюро царил полное безвластие, а потом Тронина вдруг вызвали к начальнику отдела Стрепетову.

— Сергей Петрович, принимай бюро, — сказал тот просто, словно речь шла о чем-то обыденном.

— Как это принимай бюро? А Серов? — растерялся Тронин.

— Серов? — морщась, задумчиво переспросил Стрепетов. — Тебя беспокоит Серов? Ну что же, конструктор он, в общем, неплохой, но на этом, с моей точки зрения, все его достоинства заканчиваются и начинаются сплошные недостатки.

— Странно, — удивился Тронин, — я считаю его неглупым, уважаемым человеком.

— Разубеждать тебя не стану, поработаешь — поймешь все сам. А твоя кандидатура подходит со всех сторон: хорошая инженерная практика в цехе, в отделе о тебе

отзывы тоже неплохие, да и с людьми у тебя получается...

Тронин долго колебался, тянул с окончательным ответом, но Стрепетов все же его уломал.

* * *

Тронин проработал в новой должности уже больше месяца, а его не переставало мучить ощущение странной неловкости перед конструкторами и в особенности перед Серовым. Но приглядываясь к сослуживцам, он видел сосредоточенные лица и с облегчением думал, что все опасения беспочвенны. Лишь изредка натыкался на задумчиво-напряженный взгляд Серова, в котором мерещились насмешка, презрение. Появлялись, неясные, по большей части тревожные предчувствия, но вскоре и они проходили, сглаживались, к тому же Тронину было некогда глубоко анализировать значение этих взглядов — забот у начальника бюро оказалось невпроворот...

Не успел Тронин прийти в себя после круговерти кузнечного цеха, как по внутренней селекторной связи раздался озабоченный голос начальника отдела Стрепетова:

— Сергей Петрович, закалочный станок уже в работе?

— Нет, — ответил Тронин.

— Сегодня же приступайте, а то прогневаем главного инженера.

— Хорошо, — бросил Тронин, нагнулся, потянул с нижней полки шкафа раздутую папку с техническими заданиями, расстроенно шлепнул на стол — опять придется перекраивать все планы.

Вообще отдел едва переводил дыхание: завод на полных оборотах вел освоение новых изделий, и лавина проектных работ нарастала с каждым месяцем. Оставался один Серов, добивавший общий вид весьма спорного проекта, который только и можно было отложить в этой суматохе.

Тронин зацепился за эту мысль. Он с особым вниманием посмотрел на Серова и вдруг почувствовал ужасную неловкость от того, что должен подойти сейчас к нему и, словно извиняясь, попросить повернуться на сто восемьдесят градусов. И чем больше он размышлял, тем сильнее росло в нем недовольство собой. Наконец он окончательно разозлился. «А-а, пусть что угодно думает», — решил он и, грохнув стулом, двинулся к Серову.

Разговор с ним он начал против своей воли не с требовательного, уверенного «отложи проект», а с маловыразительного,

расплывчатого вопроса: «Ну, как дела, Лев Николаевич?», после которого уже Серов делался хозяином положения.

Помедлив, он ответил:

— Бьюсь над общим видом, утешительного пока мало.

— Я тебя сейчас утешу, — виновато сказал Тронин.

— Хочешь двух зайцев убить?

— Угадал. Технологи запросили повышенную твердость венца, а без специального закалочного станка, как ты сам понимаешь, не обойтись.

— Помилуйте, Сергей Петрович, а что же будет с этим проектом? — всерьез обеспокоился Серов. — Разве он больше уже никому не нужен?

— Нужен, но из двух зол выбирают худшее.

— Ну ладно, будем считать, что похоронили еще один проект, — сказал Серов и сердито глянул исподлобья. — Ну и что же нам предстоит решать на данном этапе?

Тронин сунул ему в руки папку-скоросшиватель сторчащими из нее бумагами, и душу вдруг царапнула горькая обида — почему он должен просить, унижаться, а не требовать, как это и подобало бы настоящему руководителю.

Он приткнулся спиной к соседнему кульману и поглядывал на Серова, который нервно теребил отдающую аммиаком планировку участка. Он чувствовал даже обязанность стоять перед Серовым, пока тот не прочтет все до последней строчки, а Серов, словно понимая это, не торопился.

Тронин начал овладевать тихое бешенство. Стараясь притормозить это чувство, загнать его поглубже, он первым нарушил молчание:

— Срок дали жесткий, придется работать в хорошем темпе.

Точно ожидая услышать именно эту фразу, Серов тусклым бесцветным голосом отпарировал:

— Наше начальство на любую работу, даже на спутник, даст два месяца. А здесь и за полмесяца не прочитаешь этот фолиант.

Взгляд Серова сделался непримиримым, потяжелел, и Тронину показалось, что это был всего лишь верхний слой недовольства, под ним жило, тщательно укрываемое от всех, более глубокое чувство, которому, может быть, против своей воли и подчинился в эту минуту Серов.

Позже Тронин иронически посмеивался над собой, вспоминая разговор с Серовым. В сущности, Серов — типичный отделов-

ский работник, хороший конструктор, но в какой-то степени неудачник, ожесточившийся против всех и прежде всего против него, Тронина. В этом его можно, конечно, понять, потому что еще неизвестно, как бы он, Тронин, повел себя сам, окажись на месте Серова.

* * *

Проект закалочного станка шел со скрипом. Остановившись возле кульмана Серова, Тронин в который раз принимался разглядывать лист ватмана. Боковым зрением он видел привычный мрак на лице Серова, его грозно сдвинутые брови, и никак не мог понять, почему его так воротит от серовского проекта. А может быть, начиналась отчасти против его воли консолидация неких внутренних сил, питающихся всеми теми отрицательными, неприятными, с его точки зрения, чертами характера Серова, которые раньше не бросались в глаза? Но сейчас он должен что-то сказать Серову, выдать такую необычную тонкость, которая сгонит с его лица многозначительную улыбку.

— Лев Николаевич, почему бы нам не сделать четыре позиции вместо трех? Рабочему будет удобнее, да и производительность подскочит.

— А как быть с техническим заданием? — не взглянув на Тронина, спросил Серов.

— Чудак-человек, все в наших руках! Разве долго позвонить технологам и согласовать? — загорелся Тронин. — Ну конечно, мы скомпануем позиции попарно, а не в линиях, как предлагаешь ты!

— Чертовщина какая-то! — сквозь зубы сказал Серов. — Я буква в букву стараюсь выполнить техническое задание, которое появилось, наверное, не с потолка. А с твоей легкой руки на всем этом нужно поставить крест.

— Конечно, ошибочные мнения бывают у всех, в том числе и у меня, — ответил Тронин. — От житейского «Кто ничего не делает, тот не ошибается», к сожалению, никуда не денешься...

— Я вижу в этом другое, — перебил Серов. — Ты просто не дорабатываешь, — тихо добавил он, но Тронину показалось, что эти слова прокричали по громкоговорителю, и, бледнея, он сказал:

— Возможно, у меня и есть где-то срезки, даже обязательно есть, но за свою работу, уважаемый Лев Николаевич, я буду отчитываться перед начальником отдела, вас же попрошу продумать мои замечания.

Серов пожал плечами, выжидая, посмотрел на Тронина, но тот, не сказав больше ни слова, отошел к своему столу. Все замедлилось в восприятии Тронина, и тут по краю сознания пробежала неприятная по своей сути мысль: ему объявлена самая настоящая война. Но об этом ни с кем не поговоришь, никому не пожалуешься — сам выкручивайся, это жизнь. Правда, есть один запасной ход — подняться на дыбы и добиться перевода Серова в соседнее бюро. Он с неописуемым наслаждением понаблюдал бы со стороны за тем, как будет барахтаться с Серовым кто-нибудь другой, но что-то, чего он и сам не мог понять, мешало пойти на этот шаг, мешало, наверное, самолюбие, нежелание что-либо менять. И, остывая, он с горечью думал, что еще долго придется тащить этот неожиданно потяжелевший воз — такой уже, видимо, Серов человек, что с ним возилось и придется еще возиться не одному поколению начальников...

Отделовское профсоюзное собрание началось в конце рабочего дня. Обычно во время собраний Тронин забивался в излюбленный угол большого конструкторского зала, но все речи слушал с неизменным вниманием и уже точно знал любителей поговорить.

Доклад начальника отдела Стрепетова был гладким и сравнительно спокойным, что само по себе было уже хорошим знаком — дела в отделе шли неплохо, и выступавшие говорили совсем о другом: кому-то путевка в санаторий досталась не на тот месяц, кто-то не выполняет плана по профсоюзным взносам. Собрание уже подходило к концу, когда слово неожиданно попросил Серов.

Он деловито встал, огляделся, задержал на Тронине свой полный глубокого подтекста взгляд, от которого у Тронина неприятно сжалось сердце. Сказав несколько слов о выполнении отделовского плана, Серов перешел затем на вечные беды конструкторов: плохая освещенность рабочих мест, старые неудобные кульманы, которые в других отделах уже давно выброшены на свалку. И вдруг заговорил о некомпетентности Тронина. Из выступления выходило, что Тронин в отделе случайный человек, волей обстоятельств, в которых еще нужно разобраться, получивший администраторский портфель. Это было грубо и слишком откровенно.

Тронин слушал Серова, опустив голову, и ни на кого не глядя, он чувствовал раз-

дражение, стыд. Он едва сдержался, чтобы не крикнуть, что это все чушь и выдумки, но так и просидел в своем углу. А потом, когда на Серова набросились другие начальники бюро, конструкторы, возмущенные нелепостью и беспочвенностью обвинений, он тоже молчал, словно его не касались страсти, разгоревшиеся на собрании. Все это предстояло осмыслить, обдумать наедине.

* * *

Снова зазвонил телефон. Эта ненасытная белая трубка все время требует каких-то ответов, справок.

— Слушаю, — Тронин сказал невольно резко, чем ему хотелось.

— Сережа, я что-то тебя не узнала, — раздался в трубке голос жены. — Все утро разбираю телефон, а тебя все нет и нет. Понимаешь, мне предложили Большую Советскую Энциклопедию. Как ты на это смотришь?

— Положительно, — чуть напряженным голосом ответил Тронин.

— Ты не в духе, Сережа? — в телефонной трубке послышался шорох. — Господи, что же ты молчишь? У тебя неприятности?

— Нет, все в порядке, — пробормотал Тронин.

— Что новенького? Ты с Марютиным встречался? — жена, видимо, не собиралась так скоро заканчивать разговор.

— Марютин болен, у него радикулит, но долго, говорят, не залежится, — Тронин вспомнил, что вчера обещал притащить экономиста Марютина, который ценился в отделе за умение настраивать музыкальные инструменты.

Жена весело и энергично говорила еще о чем-то, но слова пролетали мимо ушей, и Тронин ужаснулся сам себе: мир, чудесный, многоцветный мир воспринимался только через Серова. Он боялся себе признаться, что после собрания не переставал мечтать о мщении. Ему доставляло удовольствие воображать, что с Серовым произошел несчастный случай или он опасно заболел. Но это было слишком жестоко, и он обрывал свои странные мысли.

Под пристальным, недоверчивым взглядом Серова Тронин знакомился с новым вариантом закалочного станка. Он изредка поглядывал на Серова и всякий раз неприятно поражался: до чего грубым и надменным казалось его загорелое лицо. А когда он задумывался, складки над переносьем

образовывали такой мрачный крест, что чудилось, будто этот человек сию минуту набросится с кулаками. И Тронину становилось жутковато и совершенно непонятно, как могла полюбить Серова его хорошенькая жена, часто забегавшая в отдел по разным пустякам, и к которой Тронин испытывал некую даже греховную чувственность. И это тоже раздражало.

Тронин с огромным трудом заставил себя сосредоточиться на проекте. Как заколдованный, медленным блуждающим взглядом шарил он по чертежу, и самые затаенные чувства всплывали на поверхность и смешивались в душе Тронина. Он бессильно покачал головой, дернулся, словно борясь с собой, проговорил:

— Опять не то, Лев Николаевич.

— Понятно. Слишком революционно, — лицо у Серова почерствело.

— Вот именно. Цеху нужен ординарный закалочный станок, без всяких излишеств, а ты предлагаешь автомат, — произнес Тронин, невольно напрягшись и вовлекаясь в какое-то внутреннее единоборство с Серовым.

— Это экономически оправдано, — огрызнулся Серов, отступая чуть назад.

— О чем ты говоришь, Лев Николаевич? Ведь автомат будет недогружен. И знаешь еще что? Главный инженер за него все шею намылит, — дыхание у Тронина поднялось и запрыгало.

— С этой бедой легко справиться. В конструкции можно предусмотреть переналадку, — не замечая последних слов Тронина, нашелся Серов.

— Это уже из области абстракций. Уважаемый Лев Николаевич, есть такое понятие, как целесообразность. Заводу по многим причинам, в том числе и по организационным, невыгодно иметь такой дико сложный станок. Это первое. Во-вторых, обслуживать его должны будут слесари и наладчики экстра-класса. И когда все это положить на одну чашу весов, а на другую — все прочее, то получится, что твой автомат — лишняя и никому не нужная обуза.

— Не согласен. Это вредное и косное мнение. Потому-то наш завод и ходит в середнячках, что мы всего боимся, — с нажимом сказал Серов. — Я могу поспорить с кем угодно, что автомат нужен. Все будет зависеть от конструкции, а ее я, кажется, поймал.

— Тяжело с тобой, Лев Николаевич, ей-богу тяжело, — сказал Тронин, весь обмякая и ссутуливаясь, выбрось ты из голо-

вы эту блажь, рисуй нормальный станок без всяких выкрутасов.

— Твоя позиция мне ясна — чем меньше хлопот, тем легче, — усмехнулся Серов.

— И то правда, — согласился Тронин. — Но автомат не пройдет, не теряй времени.

Лицо у Серова сделалось злым и скуластым, взгляды встретились — Тронин, уже наверняка знавший, что Серов не уступит, и Серов, принявший твердое решение отстаивать свой автомат...

Вечером Тронин долго не мог уснуть. Серов неотступно стоял перед глазами, иронически, даже издевательски улыбаясь, и Тронину временами казалось, что напрасно ожесточился против него, а все те мысли, которые Серов отстаивает, потому и вызывают такие иступленные споры, что он незаурядный человек, личность. «Стоп, стоп! — обрывает себя Тронин. — Так можно договориться до того, что черное станешь называть белым. Ведь ребенку ясно, что Серов совсем не ориентируется в сложной, меняющейся обстановке колоссального завода. В его голове бродят идеи, много идей, но все они хороши только на листе ватмана, однако они не дают Серову покоя, рождают в душе нескончаемые сомнения по поводу справедливости всего мира».

Тронин потихоньку отходил, а потом накатывалась новая волна переживаний, и он начинал проигрывать все заново... Через распахнутое окно в комнату залетали назойливые комары и, тонко жужжа, кружили над разгоряченным телом. Он лежал с открытыми глазами, поражаясь тому, как неиссякаемы укоряющие, непривычные мысли о Серове, но стоило отвлечься, забыть, закрыть глаза, как в него заползало что-то гнусное, скользкое, леденящее душу. Оно жило, делилось, разрасталось, и ему стоило больших усилий избавиться от этого гнетущего чувства.

А когда под утро мозг, сломленный усталостью, все-таки уступил, и Тронин вздремнул, странный привиделся ему сон. Вот он идет по заводу и неожиданно попадает в цех шестерен. Из серебристых пролетов льется тихая музыка и откуда-то издалека начинают выплывать закалочные станки, похожие на инопланетников. Он приглядывается и с удивлением узнает в них автоматы Серова. Он приближается к станкам, и неожиданно из сумерек станин возникает Серов, он улыбается и счастливо подмигивает.

Вероятно, из-за этого нелепого сна весь следующий день Тронин прожил скверно. Он потерянно бродил по отделу, ловя себя

на том, что без всякой надобности появляется то в архиве, то в копировке, вздыхал, волновался, порываясь начать с Серовым разговор по душам. Но что-то его сдерживало, скорее всего не хотелось испытывать новое унижение, а может быть, его устраивала неопределенность отношений, возникшая в последнее время — Серов категорически высказал все, что думает, и теперь можно было ожидать спада, примирения, что отчасти подходило Тронину. Но только отчасти, потому что срок сдачи проекта закалочного станка с него никто не снимал.

После обеда Тронин совсем расклеился, начал жалеть себя и чуть было не пошел к начальнику отдела излить свою душу. Но на полпути к кабинету Стрепетова спохватился, ошарашенный внезапной мыслью: ничего не нужно менять, пусть все остается как есть — Серов продолжает возиться со своим автоматом, но кто-то другой, может, он сам, Тронин, займется еще одним проектом закалочного станка. И сразу же Тронину polegчало, он хмыкнул и с веселым возбуждением подумал: «Что же, это совсем недурно. Тонкий психологический ход».

В динамике переговорного устройства что-то щелкнуло, и металлический голос Стрепетова, искаженный усилителями и преобразователями, нетерпеливо позвал:

— Сергей Петрович, вы мне срочно нужны.

— Иду, — отозвался Тронин.

Еще в маленькой приемной он услышал из-за неплотно прикрытой двери кабинета громкие возбужденные голоса Серова и Стрепетова, и в груди сразу все замерло. Он в нерешительности остановился и вдруг снова услышал вибрирующий голос Стрепетова, который вызывал его по переговорному устройству: «Сергей Петрович, я жду». И чей-то торопливый ответ: «Он уже пошел к вам, Дмитрий Иванович». Тронин поморщился и вошел в кабинет.

— Что это за проект, Сергей Петрович? — с ходу навалился Стрепетов. — Ведь я только вчера или позавчера подписывал кальки на закалочный станок.

— Это другой вариант, — ответил Тронин, густо краснея.

— Что вы меня дурачите? Какой вариант? Сергей Петрович, это же недопустимо! Сколько безумного труда! За это время можно было...

— Простите, пожалуйста, Дмитрий Иванович, — перебил Стрепетова Серов. —

Автомат нужен заводу. Вот расчеты, циклограммы, новая планировка.

— Не уводите меня в сторону со своими планировками, — Стрепетов взволнованно соскочил со стула. — Ваш автомат сложен. А знаете, сколько его будут изготавливать? Год, полтора года! И все закончится тем, что его не смогут отладить и он загремит под копер. Вас это устраивает?

— Нет, — невозмутимо ответил Серов.

— Тогда выбросьте проект в урну, а впрочем оставьте, пригодится для студентов-практикантов.

Лицо Серова побледнело, он втянул голову в плечи, посмотрел на Стрепетова горящими глазами, выдавил:

— Вы все здесь заодно. Спелись.

Он резко поднялся, огляделся, на мгновение убоявшись выставить себя перед начальником в необычном свете, и, сообразив, что после этих слов опасаться больше нечего, снова повторил:

— Все вы здесь заодно.

Он с ожесточением скрутил чертежи и как-то боком вышел из кабинета. Тронин безмолвно посмотрел вслед, ожидая, что Стрепетов сейчас взорвется, но он молчал, и Тронин почувствовал внезапную усталость.

Он встал, собираясь тоже выйти, но, заметив на себе беглый скользкий взгляд Стрепетова, остановился.

— Давно с ним воюешь? — глухо спросил Стрепетов.

— Почти с самого начала. Ну да, с самого начала, — пробормотал Тронин.

— Зря раньше скромничал, вместе что-нибудь придумали бы, хотя с такими людьми вообще тяжело разговаривать. Помнишь, я тебе как-то говорил?

В конце дня Серов подошел к Тронину, небрежно положил на стол, заваленный подписанными кальками, небольшую, почти квадратную бумажку и выжидательно приткнулся плечом к шкафу. Тронин рассеянно придвинул бумажку, не спеша пробежал глазами и вдруг ощутил, как заколотилось сердце. Он снова прочитал,

еще не веря своим глазам, что это заявление.

Тронин взглянул на Серова — лицо его показалось еще более мрачным, чем обычно, даже почернело, глаза застыли и смотрели отчужденно, враждебно, но через эту враждебность пробивались боль, обида, которые невозможно было скрыть.

— Это несерьезно, Лев Николаевич, — сказал Тронин, — мало ли чего не бывает на работе. Жалко, ты в цехе не работал, там такого за день наслушаешься, что хоть в петлю лезь.

Серов посмотрел на него долгим взглядом, полным спокойной холодной ненависти, процедил сквозь зубы:

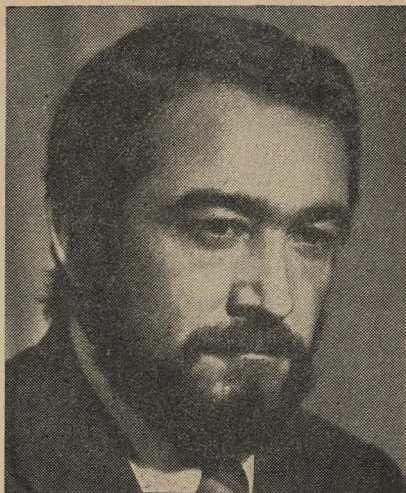
— Не нужно лицемерить, подписывай. Вместе нам не работать...

Серов исчез из отдела, и никто о нем больше не вспоминал.

Тронин выбросил в урну проект злополучного автомата, переставил кульман Серова — ему все мерещилось, что из-за него вот-вот покажется дремучее лицо Серова. Он блаженствовал. Наконец-то было обретено отдохновение, в которое трудно поверить.

Но однажды, вороша в недрах своего письменного стола старые папки, Тронин наткнулся на любительскую фотографию, наверное, десятилетней давности. Бюро было сфотографировано на фоне старой термички. Он даже не сразу узнал, а потом что-то прихлынуло к сердцу. Господи, он же много раз бывал в этом старом, приземистом, еще довоенном здании, на месте которого сейчас громоздится новый семиэтажный корпус заводоуправления.

В центре группы стоял Стрепетов, а левее его головы выглядывало скуластое лицо Серова. И сразу все вспомнилось: месяцы глухой, скрытой борьбы, профсоюзное собрание, закалочный станок, заявление... Он вдруг так больно, раздирающе больно затосковал по Серову, точно это был старинный и верный друг, с которым в трудные времена делился последним ломтем хлеба; сжавшись, он долго сидел и смотрел на фотографию, потом положил в папку, но еще долго не решался спрятать ее в стол.



Николай Михайлович Черкасов родился в 1938 году в селе Панфилово на Алтае. После семилетней школы поступил в Барнаульский строительный техникум, затем работал на строительстве целинного совхоза «Комсомольский», на Барнаульском радиозаводе и заводе геофизической аппаратуры. Автор четырех поэтических сборников. Окончил Высшие литературные курсы. Член Союза писателей СССР.

Николай ЧЕРКАСОВ

ФОРМУЛА ЛЮБВИ

✱

В этой речке только пескари
и другой в ней рыбы не водилось.
Ни плотовщики, ни рыбаки,
лишь остатки утренней зари
ей порой оказывали милость.

И текла она, не торопясь,
устраняя мелкие заботы:
то коров напоит, не скупясь,
то с сапог походных смоем грязь,
то остудит тело от работы.

И никто не ведал никогда:
есть ли нет у ней исток и устье,
почему над омутами грустно
тальники покоились, и густо
берегом толлилась лебеда.

А зимой, в сугробах схоронясь,
незаметной вовсе становилась,
иногда лишь прорубью дымилась
да ледком шершавым серебрилась,
утверждая с внешним миром связь.

Но весной, когда окрест снега
под горячим солнцем оседали,

забывала речка берега,
выносила воды на луга
и туда, где меньше ожидали.

Все сметала речка на пути,
став на время буйною рекою,
словно кто-то крепкою рукою
до поры держал ее в покое
и на миг весною опустил.

И тогда забытая река
становилась темой разговоров
щедрых на восторги и укоры,
и хватало этого задора
дня на два, ну три наверняка.

А теперь едва ли кто найдет
русло той речушки немудрящей
с тальником над омутом грустящим,
но зато сегодня, в настоящем,
вспоминает речку круглый год.

ФОРМУЛА ЛЮБВИ

Когда весна все проняла до почек,
мы вывели на поле трактора.
Нам домом стал обшарпанный вагончик
с плакатами, кричавшими «ура».

Стоял он у болотистой низины
на фоне верб цыплячьей желтизны,
пропахший табачищем и бензином
свидетель и соратник целины.

Вломились мы в его нутро ватагой,
и полку каждый брал на абордаж.
Поскольку был я «шкетом» и «салагой»,
меня загнали на второй этаж.

Я уместился на соломе колкой
(в краю забытом богом, не людьми),
на потолке перед моею полкою
в глаза бросалась формула любви.

Потом я буду после смены каждой,
взвалив себя на ложе, словно груз,
ее прочесть пытаться не однажды,
но дотяну всего до знака плюс.

Щелястый, тесный, крашенный халтурой,
пригревший волчьей жадности клопов,
смотрел вагончик с прасольским прищуром
на наших посмурневших мужиков.

Мы целый век в нем, кажется, прожили,
и каждый день — как по сердцу ножом.
Он так осточертел, что мы решили:
как только отстрадаем — сожжем.

И вот, когда последнюю загонку
мы лучше чем метлою подмели,
мне бригадир сказал: «А ну, мальчонка,
по порученью общему пали!»

Братва моя по-странному замялась,
вагончик видя будто в первый раз,
и вот ведь заковыка — оказалось,
что спичек нет ни у кого из нас.

«А ну его... — и бригадир в кабину
свою фигуру мощную внедрил, —
пусть пауки в нем вяжут паутину», —
добавил и, помедля, закурил.

Щелястый, тесный, с насекомым злющим,
где он [забытый богом и людьми]
степной вагончик, в молодость зовущий
своей наивной формулой любви.

НА СТРЕЛЬБИЩЕ

В буквальном смысле нас на край земли
доставили продрогших и усталых
и сразу без отсрочки отвели
на стрельбище вблизи погранзаставы.

Нам капитан Сметанин показал,
как пользоваться надо автоматом,

какая в пулю вложена гроза —
короче, все, что надо знать солдатам.

Мы вышли на рубеж вполусерьез —
нам, штатским, результат не нужен, дескать, —
а перед нами за сто метров мерз
«противник» из фанерного обрезка.

Я вскинул автомат, и — что за блажь! —
вдруг на мишени проступили лики.
Я выстрелил в нелепый тот мираж,
с бедра ударил Леонид Мерзлякин.

Стреляли мы, забыв на миг себя,
хлестала воздух бешеная сила,
казалось: нас единая судьба
у рубежа в тот час соединила.

Но вот патронов кончился запас,
подсчитаны пробоины ружья,
мы шутим вновь, но шуточки у нас
звучат так неуместно и фальшиво...

*

Когда октябрь опустошает даль,
и небо над землею оседает,
ко мне приходит смутная печаль,
как женщина до времени седая.

Ее приход ничем не отвратить:
ни просьбой, ни обманом, ни приказом.
Она способна всякий раз смутить
и душу мне, и мой холодный разум.

Я не могу тогда спокойно жить,
потерянно брожу пустынным садом,
не ведая о том, как дальше быть,
как мне избыть душевную надсаду.

Иду давно нехоженой тропой
и всматриваюсь в зябнущие кроны...
Не зря, видать, осеннюю порой
друг к другу жмутся грустные вороны.

ПЕРВАЯ БОРОЗДА

Погожим днем, днем первой борозды,
собрались мы не хуже, чем на праздник,
и даже ветер — сущий безобразник —
и тот на время сдал свои борозды.

Стоял «ДТ», мотором рокоча,
надраенный по случаю до блеска,
и голосом охрипшего грача
весна к нему зывала из пролеска.

А мы толпились возле. Тракторист,
преодолев минутное волнение,
взирал, как новоявленный артист,
на девушек, стоявших в отдалении.

Но вот парторг скомандовал — и плуг
повел ее заветную такую,
как будто бы натягивал на лук
он тетиву до вызвона тугую.

Мы вслед за ней спешили, опьянев
от радости, от солнечного света,
и каждый, как тогда казалось мне,
похожим был немного на поэта.

Метался длинноногий фотокор
в костюме олимпийского спортсмена,
«расстреливая» трактор то в упор,
то издали, припавши на колено.

А трактор шел по царству ковыля,
не знавшего крестьянского ухода,
и словно плугом время разделял
на до и после подвига народа.

*

Юность — это дороги,
позабывшим сродни,
по которым, как дроги,
катят серые дни.
Ни тебе знаменитым,
ни героем не стать.
Все на свете открыто,
все от «аза» до «ять».

Но однажды за тридцать
отсчитают года —
и на миг озарится
юных лет череда,
у которых дороги,
обновленным сродни,
и не так уж убоги
были прошлого дни.

А когда наступает
тот, последний привал,
юность кажется раем,
где когда-то бывал,
где прямые дороги
вновь открытым сродни,
по которым, как боги,
катят светлые дни.

Вот расчертят небушко в линейку
птицы реактивного пера —
я внапах надену телогрейку,
выйду за калитку со двора,

проскриплю пимами до уброду,
подгоняя собственную тень,
и воронам дремлющим в угоду
обойду сторонкою плетень.

Посмотрю с прищуром на заречье,
слушая синичий перезвон,
и случайно будто бы замечу,
что во всем на свете есть резон:

в звоне птиц, в березовом свеченьи,
в скрипе снега, в тишине самой.
И придя к такому заключению,
я вернусь по сумеркам домой.

А потом до самого восхода
буду долго думать и гадать:
как могло к понятию «природа»
присосаться слово «похорять»!

РУССКАЯ ПЕЧКА

Уходит в забвение русская печка,
уходит бесследно, уходит безмолвно.
Припомнится задерга — тут же осечка:
и слова такого не слыхивал словно.

Не тренькнет сверчок тот, что знал свое место
на теплом шестке, на известной отметке.
В избе не запахнет взошедшее тесто,
и щей не поешь, утомленных в загнетке.

Подовых буханок на листьях капустных
не выставит мать на скатерку, как прежде,
и в час предрассветный, в час радостно-грустный
на жаркий огонь не посмотрит с надеждой.

Мне скажут: опять, как цыган за уздечку...
Квасной патриот... Надоело, мол, полно!
А я так жалею, что русская печка
уходит бесследно, уходит безмолвно.

*

Грибные дожди отшумели,
брусника осыпалась в мох.
В излуке означились мели,
бессмертник песчаный посох.

Зима еще где-то блукает,
а осень уже не у дел.
Вокруг тишина и такая,
что кажется лес онемел.

Молчит, притаился по-лисьи,
изношенный скинув наряд,
и только опавшие листья
о многом тебе говорят.



Людмила Козлова родилась в г. Никольске Вологодской области. Долгое время жила в селе Солоновка Смоленского района на Алтае. В 1971 году окончила Томский университет. Инженер-химик. Живет в Бийске. Стихи Л. Козловой неоднократно публиковались в альманахе «Алтай».



Людмила КОЗЛОВА

ЖИВУ Я ТРУДНО, НО СЧАСТЛИВО

Всю ночь я сеяла
и знала,
что надо до свету успеть,
а ветер яростный и шалый
мешал рассвету прилететь.
И пыль от хлеба
семенного —
начало всех
живых миров —
лицо и руки
скрыла снова
и ввела крепко
в плоть и кровь.
Не хлебороб,
не пахарь вроде,
но где-то там
на глубине,
в моем дремавшем
генном коде
вдруг распечаталась во сне
крестьянской памяти
ячейка,
и поняла я, отчего
живу во мне тревогой чьей-то
земли и хлеба
колдовство.

Утро, утро дымное,
ты к себе прими меня —
не святая пусть,
а земная,
грешная —
не суди поспешно,
может быть, сгожусь.
Я прошусь ненадолго,
мне века не надобны,
а всего на жизнь.
На одну короткую,
ту, что мною соткана.
Утро, расступись!
Не скупись же, вечное,
Будь ты человечнее,
снизойди к земле!
Огради работою,
награди заботою,
дела не жалея!
Не спрошу награды,
делу буду рада,
не укроюсь в тень.
Только малость
дай мне:
светлыми трудами
удлини мой день.

А потом переписывался. Я и адрес этого товарища записал. Вот найду и вышлю. Может, ты до истины достукаешься. Уж не ради мести, теперь уж все перегорело. А просто найти того человека, который так легко все скрыл, да столько людей несчастными сделал.

Ну вот, дорогой Пантелей Степанович, то, что я знаю. Извини за мой почерк, ни точек, ни запятых. Все подряд. Слезы душиат. Пожелаю вам больших успехов по этому делу, а что тайность, не беспокойся. Если дело пойдет хорошо, то черкните мне. Не могу. С большим приветом Фрол Клинецов».

2

Это письмо мне вручил редактор, попутно присовокупив, что я приобретаю бешеную популярность, раз мне аж из Ташкента пишут. Я смолчал — зачем дразнить гусей? Шеф не мог знать, о чем это письмо, иначе вряд ли бы стал над этим подхихкивать. Да и, может, это была просто обычная шпилька, не обязательно ведь в каждой шпильке видеть какой-то тайный или злой умысел...

Первое, что я сделал — это отправил Фролу Клинецову телеграмму с просьбой об адресе «знакового», с которым вместе сидел Никита Перепел.

...И вот сижу я в своем кабинетике и в который раз думаю о Фроле Клинецове, об его письме, написанном перовными, прыгающими буквами, без точек и запятых, без заглавных букв и абзацев. Неужели мне повезет, и Фрол найдет адрес «знакового» Никиты Перепела?

Я уже давно навел справки о детях Никиты. Они действительно поступили в детдом, но потом были куда-то направлены при расформировании детского дома. Искать их я не стал. Это бы затянулось на годы. Перед войной, где-то в тридцать шестом-тридцать седьмом они стали учиться в техникуме или поступили на завод. А потом была война. Где их искать по гигантской стране? Куда занесла их военная пора?

Минька Перепел, ставший Дмитрием, безусловно, воевал — ему в начале войны было уже за двадцать. Жив ли? Погиб ли? А Дарья, конечно, сменила фамилию.

Да и ничего путного о своем отце они, конечно, не знали. А что-то об убийстве коммунаров Клинецовых и давно рассказать не могли — на суд их не приглашали. А бередить их раны я не имел права. Комок в горле топорщится, как представляю, что к ним, голодным, в дом заходят чужие

люди вместо отца и (вместо горячей, вкуснейшей, самой желанной на свете затирухи) преподносят повость — их отец убила... Мог ли я этих людей, даже через столько лет, расспрашивать, бередить, посыпать солью такие глубокие раны? И так уж столько людей вновь слезами умываются, и так уж вспомнили то, что хотели бы забыть. А сколько их, тех людей, что хотели бы забыть? Одни — от ужаса и боли, другие — от страха перед расплатой.

Входит разносчица телеграмм, я рассылаюсь, продолжая размышлять, кладу телеграмму на стол и тут только замечаю, что она из Ташкента. Руки мои стали похожи на руки проигравшегося банкомета, который делает свою последнюю и безнадежную ставку. Я сую их между колен, а сам читаю, читаю, читаю адрес Перепела.

Алма-Ата! Теперь, если Перепел помнит адрес того «знакового», я смогу выйти на его данные о Ряшенцеве. Если Ряшенцев действительно служил у Анненкова, то не только будет ясна мотивировка, которая и так не вызывает сомнения, получит объяснение и крайняя жестокость, с которой было совершено это гнусное убийство.

Удивительно! Просто удивительно — сидит человек и радуется, сидит человек в прокуренном кабинетике, его вот-вот уволят, подай только повод, ему бы заботиться о себе, о своей семье, переезде и квартире, а он радуется телеграмме. Безнадежной телеграмме. Потому что если даже знакомый Перепела даст какие-то данные о прошлом Ряшенцева, то, во-первых, неизвестно, жив ли Ряшенцев, во-вторых, если даже и жив, то так стар, что и суд-то над ним будет чисто символическим. Да к тому же еще и срок давности. Стоит ли радоваться безнадежному делу?

В таком идиотском состоянии и застает меня Болдырев, когда входит в мой кабинет.

3

— Да разве в этом дело? — почти кричу я. — Разве дело в деньгах? Мне послезавтра на сессию вылетать надо. Я ведь все еще неуч, все еще студент, все еще заочник.

— Это я знаю, — говорит Болдырев спокойно. — Я тебе в Иркутск подошлю рублей сто. На обратном пути слетаешь в Алма-Ату и узнаешь адрес «знакового», если хорошо пойдет.

— А Ряшенцев?

— О Ряшенцеве не беспокойся. Живет спокойненько у нас в Марково. В прошлом

Живу я трудно,
 но счастливо
 И пусть душа
 обнажена,
 в ночи холодной
 и дождливой
 к рассвету вновь
 бредет она.
 Спасибо ей за то,
 что вечно
 она бывает
 голодна.
 И потому
 не жить беспечно,
 не ждать забвенья
 от вина.
 Пирушек
 тепленькая пища —
 душе отрава
 и обман.
 Голодный
 корку хлеба ищет,
 а не угар
 и не туман.

СКАЗКА О РАЗБИТОМ КОРЫТЕ

Душа окаменела
 корявым сталагмитом.
 Да это бы
 полдела —
 не делится корыто!
 Ни просто добровольно,
 ни даже по суду.
 Сказал бы дед:
 «Довольно!
 Я без него уйду».
 Походкою прямою,
 как истинный
 мужик,
 ушел бы он
 без боя,
 да только не привык.
 Зря времени
 не трать,
 принес он грязи пуд.
 И в толстые тетради
 хулу
 заносит суд.
 И судится старуха —
 корыто жаль —
 беда!
 А вот
 единство духа
 делили без суда.

31 декабря 1978 г. ночью тронулись малые реки, снег растаял. Морозы начались лишь в конце января. Что это — издержки цивилизации?

Из дневника синоптика-любителя

Весны летучее дыханье,
 гряда незимних облаков,
 в горах
 подтаявших снегов
 жемчужно-серое сиянье.
 А ночью
 с черных скал
 ничком
 река рванулась,
 как проснулась,
 земля продрогшая прогнулась
 под человечесим каблуком.
 А между тем
 была зима,
 и год сменялся
 новым годом —
 взбесилась матушка-природа,
 взялась за грешников
 сама.
 За то, что лезли
 напролом,
 на белом свете
 появилась
 природы буйная
 немильность —
 людей наказывать
 теплом.

*
 Сегодня солнце опускалось
 так долго,
 будто на века
 с землей оттаявшей
 прощалось.
 Порой скрываясь
 в облака,
 в просветы странно
 и багрово
 оно смотрело на поля,
 и незнакомую,
 и новой
 казалась юная земля.
 Все мнилось,
 словно на Венере
 в закатном зареве
 весной
 в далекой той,
 грядущей эре
 к деревне едем мы родной.

Владимир ГАЛИЦКИЙ,
заслуженный деятель искусств РСФСР

ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ

Мы двигались по огромной дуге от Оренбурга через Орск, Каргалы, Магнитогорск, в Кургане вышли на Транссибирскую магистраль. Нас мчали по ней с огромной скоростью тяжелые «ФД», а навстречу шли на запад эшелоны, платформы, груженные танками, артиллерией, громадный поток грузов... Страна спешила на фронт. В течение двух дней бешеной гонки, миновав Петропавловск, мы прибыли в Омск. Тут была большая стоянка, ее нужно было использовать для рекогносцировки в местном театре, а также попытаться установить связь с Барнаулом. Города я не запомнил. Наверное потому, что скорее хотелось увидеть, какой театр в Омске и как нас в нем примут. Помню, что нас поразило обилие садов, скверов. Пройдя сквозь один из таких скверов, мы увидели красивое здание театра в стиле модерн с парадным входом, чем-то напоминающим Соловцовский театр в Киеве. Во всяком случае по масштабу и добротности отделки оно выглядело совершенно по-европейски.

Мы вошли в здание театра и попросили доложить о нас Лине Семеновне Самборской, которая, как мы знали, была художественным руководителем. Нас поразили чистота, уют, тишина коридоров и фойе. Табличка, горевшая при входе на сцену, «Внимание! Идет репетиция» показала нам чем-то необыкновенным, от чего мы давно отвыкли.

Мы расположились в кабинете дирекции. Лина Семеновна выложила нам все сведения, имеющиеся у нее о Барнаульском театре. Мы узнали, что в городе есть постоянная труппа, что город знаменит своим недавно построенным меланжевым комби-

натом, детищем первых пятилеток, красавицей Обью. Посоветовавшись, мы в тот же день отправили телеграмму такого содержания: «Барнаул, горком партии. Решением Эваковета СССР труппа Днепропетровского театра русской драмы имени Горького направлена ваш город. Сегодня проехали Омск. Готовы включиться в работу по обслуживанию трудящихся Алтайского края. Поручению коллектива: директор, художественный руководитель, секретарь парторганизации». Эта телеграмма организовала и нас самих, мы на деле почувствовали, что шаг за шагом подвигаемся к цели, обозначенной в телеграмме, и что эта цель серьезна, налагает на нас ответственность и нужно работать хорошо и более того, чтобы «обслуживание трудящихся» стало фактом культурной жизни Алтайского края.

На следующий день мы прибыли в Новосибирск.

Огромный, еще не до конца отстроенный вокзал кишел народом, дышал ритмами войны. Его просторные залы наполняли массы людей — тут можно было увидеть и раненых, прибывших с фронта, и солдат в новеньком обмундировании, бегающих из конца в конец с какими-то литерами в руках, и эвакуированных, и мобилизованных на военное строительство таджиков, узбеков в длинных ватных халатах, их лица, окаймленные мысами черных бород, были благородны и красивы.

Сам вокзал поразил меня и размерами, и талантливым архитектурным решением. Ворота Сибири — так можно было определить образный смысл решения. Своими масштабами, высокой одиннадцатипятиэтажной

башней, разлетом корпусов он говорил: вы стоите на пороге гигантского края, он только начинает по-настоящему раскрываться; смотрите, сколько дорог, как далеко видно отсюда сибирскую землю — край индустрии, открытий, находок и постижений. Я почувствовал этот образ и понял, как много может значить для человека, приехавшего сюда, встреча именно с таким вокзалом. Он заряжает эмоцией, горячит воображение.

Мы взяли в кассе билеты, подошли к поезду из пассажирских вагонов, на которых висели таблички «Новосибирск — Барнаул», сели в вагон с плакатными местами и покатали по неизвестной нам дороге.

Я заснул поздно, на каждой остановке просыпался, но за окном, в общем, были обычные станции, с колоколом, светящимися оконцами станционных служб, ларьками. Только на перегонах лес казался гуще, дремучее российского. Проснулся утром на станции «Алтайская», сразу же за ней мы прогрохотали мостом через Обь — совсем Днепр, подумалось, и подкатили к перрону. Мои спутники уже встали, настроение было хорошим; помню, что все старались подбодрить друг друга.

Сейчас, когда я вспоминаю этот день, мне кажется поразительным, что, прожив два года в Барнауле и уехав из него, я ни разу не смог потом снова приехать сюда, только всегда считал его родным городом, жадно собирал сведения о нем. Рассказы о том, как неузнаваемо вырос и похорошел город, меня всегда радовали. Хочешь не хочешь, надо признать, что подхлестнули развитие этого края экстренные обстоятельства войны, когда значение Алтая как одной из точек тыла, обеспечивающего фронт, как нового промышленного центра гигантски возросло. Достаточно сказать, что в Рубцовске, маленьком заштатном городишке, возник тракторный завод на базе эвакуированного туда ХТЗ.

Мы вышли на более чем скромную вокзальную площадь с небольшим сквериком посередине. Хотелось скорее прояснить нашу судьбу. Время подходило к девяти, нужно было с утра явиться в крайком. Не дожидаясь автобуса, расспросили дорогу и двинулись пешком.

Между станцией и старым городом — налево виднелись белые заводские корпуса и здания жилмассива — пролегал большой песчаный пустырь. По краю его кое-где торчали деревянные домишки. Увязая в песке, мы пересекли этот пустырь, вышли на тихие барнаульские улицы, сплошь за-

строенные одноэтажными домами. Ни дать ни взять какой-нибудь Кременчуг.

Но вот и массивное здание крайкома, строящаяся гостиница. Уже похоже на город, совсем другие масштабы. Среди нас два члена партии — М. О. Бушель и Л. Бубнов. Они оставляют нас на деревянной лавочке против здания крайкома. Тщательно тянется время. Длинная улица, соединяющая старый город с новым заводским районом, еще не застроена, пустынна, пробегают редкие грузовики, еще реже автобусы, вышагивают люди.

Наконец появляются наши посланцы. Надо идти в горком, им поручено разобрататься. Бушель шепчет молча, интригуя, улыбается. Мы не расспрашиваем, хотя нас и распирает любопытство.

Мы недолго дожидались приема: первый секретарь горкома т. Кувшинов принял нас сразу же. Беседа с ним превзошла все наши ожидания. Они знали уже из телеграммы Эвакосвета, что мы направлены в Барнаул, успели приготовить к нашему приезду если не все, то многое и самое главное. Можно было только поражаться масштабу проведенных мероприятий. Было вынесено решение о переезде Барнаульского театра в Бийск. Барнаульский театр освободил для нас свое общежитие, откуда большинство актеров уже переехало в Бийск. Всю труппу в этом общежитии разместить не удалось бы. Там всего 10—12 квартир и комнат. На столе у т. Кувшинова лежал список квартир, куда следует разместить тех, кто не поместится в общежитии. Для нас забронирован в гостинице 4-местный номер. Все это буквально потрясло нас, ошеломило. Мы не могли найти слов благодарности.

Но были и огорчительные детали: весной в театре произошел пожар. Выгорела сцена.

Кувшинов вызвал машину, и мы поехали с ним осматривать театр и общежитие.

Старинное, экономное здание театра из красного кирпича чем-то нас умилило. Коробка сцены уцелела, но над нею не было крыши, станы сверху разобраны, в лесах, но на них уже давно, как видно было, никто не появлялся. Не велись работы и сейчас.

Мы стояли с т. Кувшиновым в фойе театра, обсуждая самый насущный вопрос, где открывать наши спектакли. Он считал, что временно можно играть в Доме культуры меланжевого комбината и в клубе МВД, говорил о том, что к зиме сцену обязательно отстроим и т. д.

В фойе появился седой мужчина, приземистый, с резкими чертами лица, бритый, в нем можно было сразу узнать старого актера. Он шел, тяжело опираясь на палку с набалдашником.

— Знакомьтесь, — сказал Кувшинов, — начальник отдела искусств Николай Павлович Николаев. Николай Павлович, а это товарищи из Днепропетровского театра. Поручаю вам их, побеседуйте, покажите общепитие, а меня извините. Время военное, дел пропасть! Звоните, если что.

Необычайно симпатичный и деловой человек, Кувшинов много раз помогал нам, поддерживал в самые трудные минуты, не считаясь со своей занятостью.

В тот же день мы осмотрели общежитие, наше будущее жилье. Рубленное из цельных, потемневших бревен, одноэтажное здание не вызвало бы особого восторга сейчас, в наше время, но тогда оно показало нам раем. И расположение — напротив театра — сулило немало удобств и экономии времени. В плане оно напоминало букву П, основанием выходило на улицу, а два крыла располагались во дворе, где стоял ветхий деревянный сарай и еще одно строение, объяснившее нам без слов, что особых удобств первой необходимости в здании нет. Но там есть водопровод и печное отопление, значит, жить можно.

Мы насчитали 8 двухкомнатных квартир и 4 отдельные комнаты. Вот ведь как человек! Только недавно покинули мы большой красивый южный город, где большинство, если не все, имели удобные комфортабельные квартиры, а сейчас этот старый дом, так радушно распахнувший нам навстречу свои двери, казался верхом благополучия в тяжелые дни войны. И он полностью отдал нам все, на что был способен: зимой в трескучие морозы его печи источали щедрое тепло, только наруби дрова, да не позабудь истопить печь; стены надежно защищали от буранов, а если из окон поддувало, не велика беда! Мы были молоды и выносливы. Спасибо тебе, добрый старый дом барнаульский, если ты еще стоишь на улице Республики! А если сломали тебя и поставили на твое место новую каменную громаду, то ты прожил свою жизнь не напрасно и сумел сослужить людям верную службу! Сердце мое с тобой!

В глубине двора, как бы контрастируя с общежитием, возведен был каменный, трехэтажный дом, и мы с радостью отметили, что в нем шли отделочные работы.

Вопрос, который нас беспокоил, как нас встретят, решил сразу в течение одного

дня и решил кардинально. Мы испытывали невероятный подъем духа. Наверное, в такие часы и получаешь подлинное ощущение целостности и единства народа, ощущаешь мощь нашего строя, образа нашей жизни.

Обедали мы в ресторане при гостинице, впервые за этот месяц ели на чистой скатерти, из тарелок, ложками и вилками. Особенно умилил всех поданный на третье компот из абрикосов. Вкусный, сладкий, он дал нам ощущение полнейшей домашности.

Мы отправились в номер, растянулись на чистых простынях, укрылись пододеяльниками, но сна не было; почти по-детски перебивая друг друга, обсуждали мы все происшествия дня. Трудно найти слова, чтоб рассказать, как мы были потрясены приемом. Принятые заранее меры, размах решений, деловая спокойная распорядительность, сердечность приема — все это выглядело истинным чудом. Но никакого чуда не было. Далекий тыловой город делал работу, назначенную ему в общей ситуации войны. Мы были одними из первых. В течение двух лет город принял десятки тысяч трудящихся — текстильщиков, металлистов, инженеров, известных писателей, журналистов. Принял и разместил в своем более чем скромном жилфонде. Сибиряки потеснились в своих рубленых, побуревших от времени домах. Где жила одна семья, стали жить три-четыре. Но никто не остался на улице, для всех нашлись стены и крыша. Перед нашими глазами прошла эта нигде не описанная эпопея. Некоторые эпизоды я наблюдал и дальше расскажу о них. Если где-то и надо искать примеры животворной силы народа, его огромной способности ограничить себя для достижения великой цели, то барнаульская жизнь была полна таких примеров. Тут выковался тот стойкий твердый тыл, который без стоны и ропота сумел затянуть потуже ремень, отказаться от всего, все отдать для победы. И при этом не терялся ни энтузиазм, ни юмор, ни жизненная энергия.

Я никак не представляю себе наш народ в эту минуту как сплошную энтузиастическую массу аскетов. Люди есть люди, им присущи слабости, заблуждения, пороки. Также сталкиваются они между собой в борьбе способностей, инициатив и стремлений. Но все это стало меряться особой меркой нашей справедливой оборонительной войны. И оказалось, что абсолютное большинство этой мерки соответствует, их нравственный масштаб совпадал с требова-

ниями времени. Более того, они эту мерку сами создавали своим ежедневным трудом, подвигом.

* * *

Утром 15 сентября в фойе клуба МВД состоялся сбор труппы. Актеры выспались, приоделись, были полны энергии и желания работать. После почти месяца теплушечной жизни это казалось невероятным. Вчера еще многие болели, натужно кашляли, хрипели — сейчас все как рукой сняло.

Мы поздравили труппу с открытием осенне-зимнего сезона, старались, чтобы все выглядело солидно, «как дома», сразу объявили расписание репетиций двух пьес, и вскоре труппа, разделившись на две половины, разошлась по репетиционным комнатам. Началась читка, сверка ролей с новыми исполнителями и т. д. Восстановление «Большевика» поручили В. В. Кенигсону, «Егора Булычева» вел постановщик спектакля Илья Моисеевич Боркуп, очередной режиссер. Его уже нет в живых. Но стоит только сосредоточиться, и вот как живой стоит передо мной этот темпераментный, легко зажигающийся, огневой режиссер, с чисто южным темпераментом, всегда веселый, компанейский, дружелюбный. Попав ко мне «под начало», он, очевидно, трудно пережил это обстоятельство, т. к. имел больше стажа, опыта и длительности пребывания в коллективе. Но вел себя лояльно, дружелюбно, подчинившись воле коллектива, не признававшего за ним никаких организационных талантов. Очевидно, «нет пророков в своем отечестве», что ли? Зная многие подробности и детали всех постановочных вопросов, он вложил в дело восстановления спектаклей много труда и энергии, оказал мне неоценимую помощь.

А через неделю мы получили телеграмму от народного артиста УССР Д. В. Васильчикова и его жены, актрисы Леонидовой из Харьковского театра русской драмы. Они застряли где-то на крохотной станции в Казахстане, отстав от своего коллектива, эвакуированного на Дальний Восток. Мы немедленно отправили за ними нашего администратора, и через двое суток он привез пополнение.

Еще через несколько дней Николай Павлович Николаев предложил мне кандидатуру своего сына, народного артиста Крымской АССР Леонида Николаевича Риттера-Николаева. Он эвакуировался из Симферополя. Труппа Симферопольского театра рассыпалась. Часть актеров осталась на месте и потом некоторые из них,

такие, как Переяславец, художник Барышев, вошли в крымское подполье, были пойманы и зверски замучены гитлеровцами. Тревожный октябрь рождал новую волну эвакуации. Л. Н. Риттер с семьей успел через Керчь перебраться на Северный Кавказ, известил своего отца и ждал нашего решения. Его знали в нашей труппе как хорошего профессионального актера, ведущего «героя» Крымского театра. Худсовет высказался о нем положительно, телеграмма ему была отправлена, но добирался он к нам долго, проделав весьма сложное путешествие через Среднюю Азию. Вошла в труппу и моя жена М. А. Коваленко как актриса и по совместительству зав. хореографической частью.

Театр жил напряженной жизнью. К счастью, нам не приходилось думать о материальной стороне дела. Через Н. П. Николаева мы были включены в состав театров Алтайского края и получили дотацию на зарплату актеров и восстановление спектаклей; страна позаботилась об этой стороне дела. И тем скорее нам хотелось открыть спектакли. Репетиции шли днем и вечером. Порядок премьер мы несколько изменили, решив для кассового успеха вслед за «Большевиком» выпустить полностью обеспеченный составом спектакль «Коварство и любовь» Шиллера. А потом уже «Егор Булычев», где требовалось произвести много замен, и нужно было их сделать как можно тщательней. Открытие спектаклей было намечено на 4 октября.

И вот наступил этот торжественный день. Зал был полон. Шел спектакль «Большевик» Д. Дзеля. Образ Я. М. Свердлова был одной из удач В. В. Кенигсона. Он жил в образе. У него существовала перспектива развития, удачно найдены живые детали. С момента, когда Свердлов в фартуке, перепачканный мукой выбегает из кухни в комнату часовщика, в спектакле началась жизнь, вспыхивало действие. Я потом видел в этой роли самого автора пьесы Д. Дзель-Любашевского, в нем было больше портретного сходства, основательности. Но В. В. Кенигсон играл темпераментнее, энергичнее, в его игре присутствовало обаяние большой личности, ему верили.

Спектакль прошел с успехом. Барнаульцы приняли нас. Но мы сознавали, что полной победы не было. За этот месяц эвакуации многие невидимые нити, связывающие актеров в единый ансамбль, разорвались. Те же самые, но уже другие люди выходили на сцену в спектакле, они уже не могли восстановить прежнего единства спектакля

на старой основе, а новые наши душевные сверхзадачи, рожденные войной, требовали новых созданий. Наверное, чтобы заговорить в полный голос, нужен был и материал, пьеса, подвинувшая и нас, и зрителя вплотную к событиям. И мы ждали такую пьесу.

Я уже говорил о том, что мы прибыли в Барнаул первыми. А в октябре и ноябре одна за другой прокатились волны эвакуированных из Москвы. Приехали писатели Анатолий Мариенгоф, драматург Белла Зорич, критик и сценарист Николай Оттен. Первые дни они пребывали у нас, отогревались, отсыпались, вскоре получили жилье, стали сотрудничать в местной прессе, выступать в зале агитпункта с литературными вечерами, вошли в круг барнаульской жизни. Москвичи с горечью рассказывали о гибели А. Афиногенова в здании ЦК ВЛКСМ от фашистской бомбы.

У нас установился простой немудрящий быт. Ежедневно нужно было топить печь, так что утро начиналось с колки дров. Хорошо было выбежать утром на заснеженный двор — зима в 1941 году была ранней, — выкатить из сарая несколько чурбаков и помахать топориком.

Проблема питания в Барнауле еще не существовало, по карточкам отпускался голько хлеб. На рынке продавались картофель, овощи, мясо, розовое барнаульское сало, по толщине не уступавшее украинскому. Город узнал трудности только к середине 1942 года.

Спектакли продолжали выходить регулярно, нам нужно было пополнять репертуарную афишу. Барнаул привык к частой смене названий.

В начале ноября ударили сибирские морозы. Мы возвращались как-то с Кенигсоном после вечерней репетиции домой. Шли, обсуждая очередную сводку, полную напряжения. Уже появились подмосковные названия Волоколамск, Наро-Фоминск, Сходня. Судьба Москвы волновала нас, хотя 7-го ноября и состоялось торжественное заседание правительства.

Внезапно небо озарилось какими-то сполохами. Проходящие останавливались. На всех перекрестках собирались группы людей, с удивлением и даже страхом созерцая внезапно развернувшуюся причудливую картину. Зеленоватые, синеватые, красноватые полосы, этажами развешенные в ночном небе, походили на гигантские шали с кистями. Они менялись местами, то появляясь, то исчезая. «В небесах торжественно и чудно... Но это было и жутко, и прекрасно.

Словом, мы стали очевидцами редчайшего в этих местах явления природы — северного сияния. Синоптики наутро объяснили это рано нагрывшимися зимними холодами. Старухи качали головами, ахали. С их точки зрения, эти «знамения» предвещали недоброе.

И тут, словно посрамляя эти суеверные толки, в декабре разнеслась по радио радостная весть: наши войска на московском фронте перешли в контрнаступление. Цифры трофеев, названия населенных пунктов поражали наше воображение.

Не знаю, где и как пришлось слушать моим товарищам сообщение «В последний час». Я был дома. Короткий зимний день уже кончился. Я работал за столом. Трещали дрова в печи и завывал ветер в дымоходе. Окно, густо затянутое инеем, поддыхало морозом. Он проникал в плохо законпаченные щели и спорил с теплотой комнаты, обдавая нас то и дело своим дыханием. Вдруг начались позывные. Долгие, настраивающиеся. Что еще нас ожидало? Какие новости? Мы еще не привыкли тогда к низкому, торжественному, эпическому басу Левитана. После первых слов стало понятно, что начался долгожданный перелом. Из квартиры в квартиру забежали взволнованные люди, целовались, поздравляли друг друга. Подъем духа был необычайный.

Приближалось первое января. Сцену театра давно покрыла шапка новой крыши и на ней уже, как одеяло, лежал тяжелый снежный покров. В лихорадочном темпе велись отделочные работы. На сцене строились «дороги» для подъемов, выкладывались колосники. Нам следовало думать, когда и чем мы будем открываться. Сделать новый спектакль за столь короткий срок было невозможно. Быстрее всего можно было «собрать» из старого репертуара много раз игранную в Днепропетровске «Собаку на сене» с Н. Чернышевской и В. Кенигсоном в главных ролях. Читателю может показаться непоследовательным и не имеющим никакой логики репертуарный план нашего театра. Да можно ли было назвать его репертуарным планом? Ведь мы его не создавали. Он складывался сам из возможных в этих условиях названий, каждое из которых давало известную пищу уму и сердцу зрителя. Важен был и сам факт открытия спектаклей, их культурное значение. То, что театр существует, работает, уже было актом сопротивления. Но мы усиленно искали новые пьесы, читали их, ждали, что вот-вот появится что-то новое об Отечественной войне и станет организующим цент-

ром репертуара на 1942 год. Пока такой пьесы не было.

Неспокойно в связи с этим было на душе.

Те же пьесы, которые я привез из Новосибирска, которые присылал Комитет по делам искусств, казались надуманными. Слов не хватало в них настоящих, не хватало событий, через которые можно было бы выразить трагизм и величие происходящего. Слишком победно звучали первые пьесы о войне, результат достигался в них гораздо скорее и легче, чем это было на самом деле, в жизни. Мы перечитали «Батальон идет на запад» Г. Мдивани; Афиногенов, безвременную смерть которого мы переживали как большую утрату, дал перед кончиной стремительно написанную пьесу «Накануне». Пришла пьеса Каверина «Дом на холме» о партизанской борьбе. Всем этим пьесам была присуща азбучность, наивная иллюстративность, вялость конфликтов. Не хватало сильных, больших характеров.

Где же они, эти настоящие пьесы? Они уже писались, они уже вызревали, но время их опубликования еще не наступило. А неудовлетворенность росла и, казалось, театр работал на холостом ходу.

Приближалось время перехода в кое-как законченное здание городского театра. Говоря кое-как, я не имею в виду чью-либо халатность или неряшливость. Нет. Усилия, которые делал город, его строительные организации можно назвать чрезвычайными. Условия войны требовали завершения многих промышленных объектов. И если у города находилась возможность оторвать рабочие руки, материалы для нас, то это можно объяснить только одним: считалось, что театр нужен, его открытие приравнялось к значению военных объектов.

Между тем, в город все прибывали и прибывали эшелоны. Создавались какие-то крупные строительные тресты, управления. В степи, за мелаижевским комбинатом, закладывались первые заводские корпуса. Война вызвала к жизни могучие возможности Алтая, осваивались его потенциальные возможности.

Барнаул увеличивал свое население, рос, вбирал в себя все новых и новых людей. Он начинал играть свою все возрастающую роль в системе обороны страны, и мы вместе с ним!

Ведь в глубине души мы все, тыловики, считали, что полноценно живут люди только на фронте, жертвуя для победы главным, что есть у человека — собственной жизнью.

Хотя фронт без хорошо работающего тыла не смог бы просуществовать и дня — эта всем известная аксиома, все же психологически воспринималась как лозунг, а нравственное чувство жило другими измерениями и всякое мелкое себялюбие, эгоизм, шкурничество в условиях войны оборачивались в глазах окружающих тяжким преступлением.

Долг художника — создавать полноценное, яркое искусство, внося тем самым и свою лепту в дело победы.

И мы это делали, не щадя сил. Помню премьеру замечательной комедии Лопе де Вега «Собака на сене». В зрительном зале и на сцене пар клубился от дыхания — такой был холод, и наша главная исполнительница Н. П. Чернышевская стала жаловаться на хрипы в горле, ей стало трудно говорить. Она героически проводила спектакль за спектаклем, но сип не проходил.

— Нина, ты потеряешь голос, откажись, — требовал В. В. Кенигсон. Он ссорился с нами, требуя отменить спектакли, но это было равносильно отступлению. И Нина Павловна играла. В то время, когда на фронте отдавали жизнь сотни тысяч людей, поступок Н. П. Чернышевской, может быть, не представлял собой чего-то сверхъестественного, но для меня самоотверженность Нины Павловны осталась образцом жертвенного служения актрисы своему любимому делу. Она выполнила свой рабочий долг и... потеряла голос. Сип остался вечным спутником, что через несколько лет заставило ее уйти со сцены уже в Московском Камерном театре.

«Собака на сене» была последней восстановленной премьерой театра. Мы получили настоящую сцену, театр «обсох» и «потеплел», актеры радовались этому, и качество спектаклей заметно повысилось.

И вот наконец общими усилиями удалось достать новую пьесу Н. Вирты «Солдатские женки», имевшую, увы, короткую жизнь... Она, по-моему, прерывала линию иллюстративных схематических пьес, о которых я говорил выше. Ее исходная ситуация — деревня, оставшаяся без мужиков — показалась нам схваченной правдиво и с большой долей юмора, уже таившего в себе оптимизм. На деревне из взрослых мужчин остался только хромой пожарник-старик и подростки-мальчишки, поэтому всем верховодили бабы — «солдатские женки». Кому-то это не понравилось, и пьеса, выгодная и по жанру (комедия), и по обилию женских ролей, не вошла в наш репертуар. Я о ней вспомнил позднее,

весной 1943 года в поездке с концертной бригадой по краю. И вот как это произошло. Мне бросилась в глаза группа колхозниц, особенно активно принимавших наш полевой концерт прямо в стане бригады. Оказалось, многие из них пришли пешком за пятнадцать километров. Спрашиваем:

— Так захотелось на концерт?

— Да нет, на мужиков посмотреть...

В голосе девушки прозвучала какая-то совершенно непередаваемая нота — и шальная и грустная одновременно. Этот момент жизни, чисто аристофановский, был развит в пьесе Н. Вирты. Она могла бы сделать свое полезное дело.

К слову сказать, расстояние в 15 километров на Алтае, как я потом убедился, не так уж и велико. Как-то совершая поездку по краю с целью подбора площадок для выездных спектаклей, я проехал несколько сот километров с одним из секретарей крайкома и подивился огромным расстоянием от деревни до деревни. Иногда едешь 40—50 километров — и никакого признака жилья. Он усмехнулся и сказал, что земли Алтайского края могли бы принять на жительство 3—5 миллионов человек и «тесно» не было бы. Да, этот хлебный, необъятный край, с юго-востока отороченный горным хребтом, а с запада степной ширью, до чего же он напоминал нам Украину! Об с одной стороны пологая, луговая, с другой — высокая, обрывистая, поросшая сосняком, могла сойти за Днепр где-нибудь в районе Золотоноши или Черкасс. Так и казалось, вот еще виток реки — и встанет перед глазами Канев и Чернеча Гора, и могила Тараса Шевченко возникнет перед глазами.

Наверное, эта тоска по Украине, память о ее просторах и пейзажах днепровских привела нас к решению взять к постановке пьесу А. Корнейчука «В степях Украины».

К этому времени пополнилась наша труппа. Этот процесс шел безостановочно. В начале 1942 года приехал художник Г. П. Захаров с женой, опытной актрисой Б. Оффенгейм. Прибыл и Леонид Николаевич Риттер из Симферопольского театра, проделав сложнейший кружной путь из Крыма, через Керченский пролив и Кавказ, на Баку, Красноводск, перемахнув всю Среднюю Азию. С ним приехала его жена З. Б. Нефедович, хорошая пианистка и хормейстер. Из Симферополя же приехал Петр Александрович Полевой, режиссер, заслуженный артист РСФСР.

А в начале февраля в Барнаул приехал директор Московского Камерного театра А. З. Богатырев.

Этот человек большого организаторского дарования, отличный помощник Александра Яковлевича Таирова, понимавший его с полуслова, был одной из приметных, колоритных фигур советского театра. Он, конечно, сразу подавил нашу скромную администрацию своей осведомленностью, каскадом остроумия и анекдотов.

Он осмотрел театр, быстро оценил возможности здания, расспросил о сборах, о репертуаре и тут же обрисовал нам по-товарищески, доверительно неприглядные обстоятельства, в которые попал выдающийся коллектив Московского Камерного театра, эвакуированный в октябре из Москвы на озеро Балхаш, играющий в совершенно непригодном помещении клуба Балхашского медеплавильного завода. Вышло, что вот нам, скромному периферийному театру, повезло, мы попали в такой город, как Барнаул, с его большим населением, с нашим положением театральных монополистов. В общем, как-то незаметно в разговоре с ним стало ясно, что он прибыл в эту рекогносцировку не по собственной инициативе. Комитет по делам искусств СССР решил нас «уплотнить», переселив в клуб меланжевого комбината, а городской театр отдать «камерникам».

Должен сказать с твердостью, что мы сразу поняли целесообразность подобного решения и на позицию «обиженных» не стали. Давний поклонник Камерного театра, я сразу же проникся серьезностью ситуации и высказался в таком смысле: «Мы рады приветствовать в Барнауле А. Я. Таирова с его театром, мы готовы потесниться, зрителей тут хватит и вам и нам, у нас появляется возможность сожительства с таким замечательным театром, возможностью таким же у него и т. д.». Когда на следующий день нам позвонил из Томска (где обосновался Комитет по делам искусств СССР) начальник Управления театров К. Ф. Константинов и дал понять, что решение принято, надо его выполнять, мы держались в том же духе. И это было не маневром, а разумной оценкой сложившейся ситуации. Могли наш скромный периферийный театр остаться глухим к положению всемирно известного коллектива, должны мы были понимать его значение для всей советской театральной культуры? Упрямыться было и глупо и безнадежно, от нас ожидали только такого отношения к сложившейся ситуации. Нам предстояли новые и довольно большие трудности. Психологически мы к ним ежедневно были готовы, и, как видите, они не замедлили появиться и потребовали от

нас новых и новых усилий и еще более строгой собранности. Правда, закрадывалась в душу и тревога: выдержит ли наш скромный коллектив соседство и соперничество со столь прославленным театром? И тут же другая мысль: а при чем тут соперничество? Содружество. И в этом есть свои преимущества. Во-первых, возможность перенимать опыт этого театра, приглашать режиссеров и художников Камерного на постановки к нам, во-вторых, возможность посещать спектакли, видеть Алису Георгиевну Коонен, других актеров труппы, бывать на репетициях Александра Яковлевича Таирова.

И вот через две недели на перроне барнаульского вокзала собралась кучка людей. Это были представители края, наш коллектив в полном составе и даже духовой оркестр. Поезд подкатил к перрону, побежали первые пассажиры. Мы искали вагон театра. На подножке вагона появился Таиров. Я его сразу узнал. Среднего роста, широкоплечий, смуглолицый, густые брови вразлет. Грянул оркестр. Потом гостей приветствовали представители города. Потом Александр Яковлевич произнес маленькую речь. Я слушал его впервые. Оратор он был превосходный. Глазами я искал в группе актеров Алису Георгиевну. Она стояла в сторонке, зябко кутаясь в воротник пальто, великая трагическая актриса нашего времени.

Итак, «камерники» приехали, встреча получилась доброй, сердечной. Мы сразу перезнакомились. На следующий день «камерники» уже побывали у нас на спектакле.

А потом театры занялись своими делами. Их было невпроворот. «Камерникам» нужно было разместиться в новом здании, построить декорации первых спектаклей, сделать работу, поистине гигантскую по своим размерам. Стиль Камерного сразу сказался во всем: и афиши, выпущенные театром, и статьи в газетах, и беседы по радио — все это имело целью ознакомить зрителя с высокими художественными позициями театра и вызвать к нему особый интерес. Заведующим литчастью театра стал Николай Давыдович Оттен.

Как же разместил, как впитал в себя уже разбухший, уже перенаселенный город еще одну труппу? По счастью, Камерный театр прибыл в Барнаул еще до нового летнего потока эвакуированных. В глубине двора достроили новый каменный флигель. Там получили квартиры А. Я. Таиров, Н. Б. Эфрон, из наших там разместился

Л. Н. Риттер, П. А. Полевой, одна квартира досталась Б. Зорич, драматургу и писательнице. Для расселения театра горсовет закрыл старенькую гостиницу, где мы ночевали в первые дни приезда в Барнаул. Там жили Н. Чаплыгин, М. Яниковский, художники Е. К. Коваленко и В. П. Кривошеина. Остальных разместили в подлинно неистощимом, все уплотнявшемся жилфонде города.

Для открытия Камерный театр дал новый спектакль по пьесе Г. Мдивани «Батальон идет на Запад». О пьесе говорили неважно, слишком схематичной была, урапатриотической, так не вязавшейся с действительностью. Не о Западе пока шла речь, надо было остановить вражеские полчища и обратить их вспять.

Приближалась первая годовщина Великой Отечественной войны, бушевавшей на западе страны. Чем ее отметить, эту печальную, драматическую годовщину? Остановились на Афиногенове. Его новая пьеса «Накануне» была у нас в руках, мы знали, что она несовершенна, сделана на наблюдениях, фиксировавших так же, как и пьеса Мдивани, момент перехода от мирной жизни к войне. Момент начала войны был чуть не единственным драматургическим ходом, обострившим действие. Репетировать ее в дни, когда пала Украина, был сдан последний оплот ее город Ворошиловград, бои шли за Воронеж и Ростов, было нелегко. Она нам казалась несоответствующей событиям. Любая военная сводка звучала для нас драматичнее, и мне казалось, сделай я спектакль из них одних — он был бы захватывающе волнителен и стучал бы в сердце каждого патриота. «Камерники» репетировали «Небо Москвы» Г. Мдивани.

А жизнь барнаульская сама была насыщена драматизмом. До нас начали доходить отзвуки ленинградской трагедии. Л. Н. Риттер привез с вокзала на телеге свою родственницу, дистрофика ленинградской блокады. Она не могла подняться, и ее на руках внесли в дом. Приехавшая с ней пятилетняя девочка, синяя, как ошипанный цыпленок, поражала своей угрюмостью, недетским выражением глаз. Что они видели, эти выцветшие детские глазенки? Ответ пришел с напечатанным в «Правде» «Ленинградским дневником» О. Бергольц. Ужасом веяло от него, неслышанным горем и неслышанной стойкостью. Значит, в эту же самую зиму, когда мы, в общем, сытые и согретые, жили глубоко в тылу, там боролись, умирали, замерзали в корчах голодных мук сотни, тысячи мирных людей.

Трудно описать то, что нам открылось в поэме Ольги Берггольц, в рассказах родственницы Леонида Николаевича. Трудно было вместить в себя весь океан страданий. И преодолевать это все только состраданием, желанием облегчить участь тех, кто нуждается в твоей поддержке. Леонид Николаевич и Зоя Болеславовна Риттеры были на редкость отзывчивыми, добрыми людьми. И прибывшую племянницу они удочерили, т. к. родственница уже не смогла подняться, и ее вскоре похоронили.

И мы в то время еще более остро почувствовали недостаток яркой, правдивой и мужественной пьесы. Нужна была такая пьеса как воздух, как оружие и хлеб. И такая пьеса, наконец, появилась!

В конце мая, когда до премьеры «Накануне» оставалось чуть больше трех недель, вернувшись из Новосибирска, наш завлит забежал ко мне, протянул какой-то сверток, горячо сказав: «Читайте сегодня же!» Дома я развернул сверток: передо мной, отпечатанная на папиросной бумаге, лежала пьеса К. Симонова «Русские люди».

Я не читал, я глотал пьесу. С первых же страниц возникло ощущение: вот это то, что мы ждали, что надо! Трагизм ситуации, взятой К. Симоновым в основу, потрясал своей правдивостью. Стойкость, сила, обыденность человеческой твердости, без «показухи», как подтверждение непоколебимости народной. Но пьеса не только «подтверждала», она была фактом искусства, ее идейность глубоко залегала в недрах ее художественной цельности, своеобразии характеров. Язык одновременно почти документальный и вместе с тем глубоко лирический — соединение лирики и эпоса. Да, да, стойкость, мужество, готовность советского человека на самопожертвование... И это созвучно было тому, что Барнаул формировал уже третью Алтайскую дивизию, которая покроеет себя славой на Центральном фронте. Сибиряк — слово, которое немцы произносили с ужасом. Одновременно росло число безутешных матерей и вдов.

Утром собралась труппа.

Я сказал несколько слов о причине, побудившей нас отменить репетицию. Начали читку новой пьесы.

Слушали с нарастающим вниманием. В перерыве после читки примерно первой половины пьесы уже обозначилось настроение. Экспансивный Д. В. Васильчиков бежал по залу и до моего слуха донеслось: «Все надо бросить! Репетировать немедленно!» К концу читки я видел слезы на

глазах актеров. Обсуждение началось с высокой ноты: «Блестяще! То — что надо! Оптимистическая трагедия! Истинный патриотизм! Какие роли! Язык какой! Вот оно — настоящее! Немедленно ставить!»

В течение трех дней неутомимый труженик наш З. Фукс сделал макет спектакля. Это было простое, экономное решение. Возможно, в нем не хватало образности, не хватало некоего лирико-эпического знака. Но художник в данном случае был многим ограничен: и временем, и знанием действительности, описываемой в пьесе. Однако игровых точек было достаточно, и они были грамотно размещены. Думаю, что внешний образ спектакля мы не сумели найти. Сказалась наша незрелость, что-то мы еще сами должны были прожить, увидеть, осмыслить, чтобы найти верное и впечатляющее образное решение такой новой во всей своей структуре пьесы, уловить ее эмоциональное зерно.

На застольную работу у нас ушло три дня. Сквозное действие, события пьесы обговаривались за столом, и актеры сразу выходили пробовать, сразу принимая предложенные режиссерские мизансцены. Срок выпуска премьеры приближался с чудовищной быстротой. Уже перенесли репетиции на сцену. Л. Н. Риттер и Мария Павловна Шабельская радовали меня, у них у первых стало возникать и укрепляться симоновское лирическое начало, таящее под покровом простоты и внешней грубоватости отношений человеческое тепло и тонкость чувств. Под покровом сдержанности накапливались глубокие связи, но люди не давали себе воли — требовалось все внимание и время отдавать войне. Но все равно чувства никуда не исчезали, напротив, они вибрировали, и любовь оставалась любовью, а дружба становилась крепче. М. П. Шабельская, с ее крепкой, ладной фигурой, прекрасным голосом, чисто русским обаянием, ухватывала самое главное в Вале — ее простодушие, искренность, преданность Сафонову, поэзию чувств в их целомудренности. Все это начинало звучать и уже радовало.

Мы забыли о выходных днях, месткомовских нормах, создали график параллельных репетиций, репетировали и во время спектаклей со всеми свободными актерами, оставались на ночь для монтажа декораций, роли актеры знали «назубок» уже к концу первой недели репетиций — словом, энтузиазм, стремление осуществить, сделать проникли в самую кровь и обеспечили радостную атмосферу репетиций. В таком же ритме жил коллектив «камер-

году еще пасечником работал. Ему около восьмидесяти уже. Но выглядит он орлом. Просто орлом. Если что, задержись в Алма-Ате на недельку, я с редактором это улажу. Придумаю что-нибудь. Не откажет, все равно к нам в колхоз ездит мед и мясо по себестоимости покупать.

Так вот почему мне показалась знакомой эта фамилия — у нас как-то проходила информашка о хорошем медосборе на пасеке в марковском колхозе.

— Нет уж, никаких улаживаний. Сделаем так. Я напишу Перепелу, все ему объясню и попрошу этот адрес прислать тебе. Ты получишь адрес этого «знакомого», если, конечно, получишь, и позвонишь мне в Иркутск. Если же Перепел не пришлет адреса, то все равно позвони, я тогда вылечу к нему в Алма-Ату и попытаюсь вытянуть из него все, что он знает об этом «знакомом». А с редактором об этом ни гу-гу. Я попытаюсь сдать досрочно, сессия не очень тяжелая. Сейчас огласка только повредит.

— Это точно, — Болдырев тяжело встает. — Повредит. А вот сто рублей тебе не повредят. И никаких интеллигентских словечек.

Господи! Опять меня в какой-то жуткой интеллигентщине обвиняют. Но — Болдыреву это можно простить.

— Еще неизвестно, во что это выльется. Дело-то нешуточное, — говорит он уже с порога. — Тут на все могут пойти.

А что дело нешуточное — в этом я убедился сразу же после сессии в Иркутском университете.

НЕМНОГО СО СТОРОНЫ

Как в «Сибири» нас трахнули драхмами;
В «Ангаре» пригрозили конгрессами.
По Иркутску мы бегали, ахали
Между летом, зачетом и стрессами...

Песня заочников о жилье

1

Ильф и Петров писали о неопишемости страданий человека, которому бреют голову безопасной бритвой. Это все «семечки» по сравнению со страданиями заочников, которые бегают по Иркутску. (да только ли по нему?) в поисках жилья. Университет, как правило, в таких случаях умывает свои высокоученые руки — хочешь учиться, найдешь и жилье.

Квартировладельцы ведут себя как вампиры: студентов много, а мы одни. А если

удалось ему, бедняге, снять угол где-нибудь в проходной комнате, через которую бегают с тазиками, а иногда и неглиже, стесняясь его не более, чем собственную мебель, то и тут ему, недотепе, несладко: не так сел, не так встал, много света жжешь, не кури, храпишь по ночам, свистеть в комнате — деньги выживать, и куда тебе столько книг — повернуться негде в своей квартире, допоздна не ходи — не открою. Этцэтэра.

О гостиницах и мечтать не смей. Самая удобная, конечно, это «Сибирь» — прямо через узкую улицу от университета. Но не тут-то было. Нужна бронь не ниже московской. Об «Ангаре» и говорить не приходится, та вообще интуристская.

Впрочем, и Пантелей, помытарившись вдоволь, не остался в конце концов без крыши над головой, нашел себе пристанище.

2

— Ты все-таки молодец, Панька. Огурчики откопал отменные! — Саша Жаров, ну просто сама благодарность.

— Фирма! — говорит Пантелей. — Кооперативный магазин «Сибирь». Кстати, там и «Гымза» бывает...

— В бочоночках? — в сонных глазах Володи Кривенко мелькает вожделевание.

— В плетеных бутылках.

— Если в семилитровых, то я согласен, — Кривенко приоткрывает один глаз.

— Счастливчик все-таки ты, Панька. Нам еще пять дней тут выдрыгиваться, а ты свободен, как птичка.

— А тебе кто не давал сдать раньше? — Кривенко даже носом возмущенно повел.

— Ты ему подначиваешь потому, что у него есть еще шесть рублей, а ты держишь фигу в кармане? — Саша Жаров, ну просто сама заинтересованность.

— Они меня интересуют с точки зрения их эквивалентного обмена на «Гымзу». А может, по «Агдамчику»? — Кривенко от волнения приоткрывает оба глаза. Это уж слишком, так он редко волнуется.

Эти трое — Саша, Владя и Пантелей — неразлучны со второго курса заочного отделения журналистики. Живут они на сей раз у старушки Марь-Андревны. Сегодня она уехала к дочери в Ангарск, заночует там и придет только завтра. Стало быть, целые сутки друзья будут одни. Завтра занятий нет — воскресенье, квартира из двух комнат в полном распоряжении, надо бы отметить это обстоятельство.

ников». Они выпускали к этому же сроку новую пьесу Г. Мдивани «Небо Москвы».

20 июня репетиция у нас шла всю ночь, и мы разошлись только к утру. Не ладилось со светом. «Заедали» перестановки, все нервничали, волновались, некоторые сцены повторяли по два-три раза. Уставшие актеры уже просто «докладывали» текст. Все подходило ко мне и предрекали: «Владимир Александрович, монтировка нас задавит!» Фукс, согнувшись, устало свесив свои длинные руки, вышагивал по фойе, и на его землистом лице играли желваки. Договорились, что с десяти утра начнем монтировочный прогон, отменим вечерний спектакль, а после вечерней репетиции снова сделаем «световую». В день премьеры актеров не трогать! Пусть придут на спектакль спокойные, отдохнувшие, и все получится. Я собрал их все-таки в фойе. Прочел им все свои подробные записи — они их выслушали молча. Усталость была велика, и я отпустил их. Побежал и сам на несколько часов домой.

В киоске ухватил свежий номер «Алтайской правды» и, кинувшись в постель, развернул его. Вся третья страница была посвящена завтрашней премьере Камерного театра. Я прочел статью А. Я. Таирова, высказывания актеров-исполнителей главных ролей. Рассмотрел великолепные фото-моменты из спектакля. Если они фотографировали спектакль, значит, он готов, готов совсем, еще два-три дня назад. А у нас? У меня зануло под ложечкой. Сна как не бывало.

У нас еще не было немецких мундиров — где уж тут снимать спектакль! Их получать поехали в Новосибирск и привезли за день до спектакля, так что «немцы» обрели свой внешний вид только на генеральной.

День двадцать второго июня прошел как в горячке. Часы тянулись невыносимо медленно. А жизнь шла своим чередом. В газетах вышли статьи, оценивающие прошедший год как большое испытание, выпавшее на долю советского народа, в театре состоялся митинг. Присутствовали партийные и советские руководители края, цвет трудового Барнаула. После собрания должна была состояться премьера.

Как начался спектакль, как он шел, я описать не могу. Но врезался в память на всю жизнь финал. Простота, с которой играли актеры, безыскусственность их как раз оказались впору. Видел волнение, написанное на лицах. Слезы, которые вытирали зрители, казались прекрасными. Вот по тре-

бованию Сафонова лейтенант читает список повешенных немцами, читает буднично, неумело, почти казенно. Называет в числе казненных мать Сафонова и останавливается. Сафонов вздрогнул и поднял голову.

«Что с вами, Иван Никитич?» — спрашивает лейтенант.

Риттер-Сафонов, сидевший на ящике, уставший донельзя, делал какой-то странный жест, будто отмахивался, потом вставал и начинал расхаживать по авансцене, заговаривая боль: «Ничего... Ничего... Ничего такого. Только очень я жить хочу. (Он незаметно выходил на авансцену и последние слова уже звучали, как клятва, как обращение в зрительный зал.) Долго жить. До тех пор жить, пока я своими глазами последнего из них, которые это сделали, мертвыми не увижу! Самого последнего, и мертвым. Вот здесь, вот под ногами у меня».

Весь перемазанный штукатуркой, грозно сверкающий глазами, как бог справедливой мести, Риттер-Сафонов переступал тут порог театра, он был воплощением воина-солдата, самой жизнью созданным куском правды.

Я чувствовал себя не режиссером спектакля, а одним из сидящих в зале зрителей. Судорога сжала горло. Я вскочил и стал кричать вместе со всем залом, бурно принявшим финал. Потом побежал на сцену, обнимал Марию Павловну, Леонида Николаевича, тоже взволнованных до крайности. Бушель и Беркуп тащили меня на сцену, публика стояла стеной, не расходясь. Особенно поразила меня одна женщина. Она прибежала на сцену, обливаясь слезами, схватила меня за руки и с силой, требовательно спросила: «Какой это Сафонов? Какой? Мой брат — Сафонов, офицер, на фронте, уже два месяца нет писем. Скажите, какой?» Что я мог ей ответить? На сцену поднялись районные руководители, секретарь крайкома. По их тону я понял, что пьеса потрясла. Все дело было в пьесе.

Мы поставили ее задолго до того, как она была напечатана в «Правде», поставили, очевидно, одними из первых в стране. Я и сейчас горжусь тем, что ее многолетняя история началась с нас, хотя наш спектакль не попал ни в одну хронологию спектаклей эпохи Отечественной войны. Но бог с ней, с хронологией!

Мы возвращались домой с чувством исполненного долга.

Второй спектакль прошел чище и с большей отчетливостью. Актеры набирали жизнь, сглаживались результаты спешки, находились новые краски, новые подробно-

сти. Билеты были проданы вперед на десять представлений, появлялись все новые и новые заявки, и мы играли пьесу подряд, ежедневно, чтоб удовлетворить все возрастающий спрос.

У нас появились гости. На третий спектакль из Новосибирска приехал начальник Комитета по делам искусств СССР В. К. Константинов, с ним — желаннейший гость Леонид Сергеевич Вивьен. Отсюда и началось мое знакомство с этим интереснейшим актером и режиссером.

Он вышел из вагона в кожаном коротком полупальто, изрядно потертом. Это кожаное пальто замечательно не тем, что он вышел в нем из вагона в Барнауле, а тем, что я увидел его на нем через пятнадцать лет в Москве, в главке. И кажется, та же трубка упрямо и энергично торчала из рта. Константинов оказался мужчиной высокого роста, солидной корпуленции, — все, что я запомнил, — кроме этого, он был наделен начальственностью и в то же время достаточным добродушием.

Вечером, когда они смотрели спектакль, я томился в последнем ряду, и все казалось мне неважным, весьма средним. Но в общем мне повезло. На следующее утро я зашел в гостиницу. Леонид Сергеевич, бодрый, подтянутый, уже ожидал меня. Он захотел познакомиться с Барнаулом. «Понимаете, никогда не был и даже не знал, что такой город есть». Я повел его в музей, показал модель машины Ползунова. «Ползунов жил в Барнауле, хм!» — удивился Вивьен. Потом Леонид Сергеевич доброжелательно и осторожно коснулся всех недостатков спектакля. Он говорил о темпе, о внутренней оценке событий, советовал многое подтянуть, дал понять, что театру ему понравился. Особенно подробно он расспрашивал о Марии Павловне Шабельской. Вечером он посмотрел спектакль еще раз (пьеса должна была репетироваться в Александринке) и пригласил Шабельскую в свой театр на роль Вали.

Через несколько дней вышла рецензия на спектакль в газете «Алтайская правда»: «Оценку творческой деятельности коллектива Днепрпетровского драматического театра дали сами зрители. Пьеса смотрелась напряженно, с неслабеваемым ни на минуту вниманием. Взоры зрителей все время были прикованы к сцене. Они в эти часы жили и боролись с героями пьесы».

Что греха таить, признание газеты меня радовало. Но разговор с Л. С. Вивьеном не выходил из головы. Я сам чувствовал, что в драматургии произошел перелом: пришла

настоящая пьеса о войне, не преуменьшавшая трудностей времени, стремящаяся проникнуть в глубь человека, найти истоки патриотизма, стойкости, героизма не в риторике, а в самой сущности людей. И нужно искать для выражения этой сущности настоящую театральность, простую и емкую в своей трагической значимости.

Наступило лето 1942 года, жаркое, грозное лето. Немцы снова усилили свой нажим, фронт прогибался. В сводках появились донские и кавказские названия. Было ясно, что бои идут уже в предгорьях Кавказа. Надо выстоять, надо еще яростней и беспощадней бить врага — призывали газетные строки.

Нажим немцев вызвал новую волну эвакуации. В Барнаул стали прибывать новые эшелоны. Слышалась «окающая» приволжская речь, названия городов Малая Вишера, Владимир, Серпухов, Наро-Фоминск. В основном прибывали текстильщики. Прибывали с семьями, с домашним скотом. Городу пришлось пойти на крайние меры: заняли помещения школ и прекратили на десять дней спектакли нашего театра в клубе меланжевого комбината. Помню отчетливо всю картину до деталей: в зрительном зале разобраны и вынесены ряды кресел. В освобожденном просторном зале разместились хорошие две сотни семейств. Они сидели и лежали на вещах — женщины, дети, старики. Кто-то лежал больной, кто-то шил, ел, дети бегали по залу, кричали, плакали. Родители тщетно пытались их унять. Ребятам хотелось шалить, играть.

Вокруг Дома культуры, во дворе и садике горели импровизированные костры, варилась пища, огонь лизал прокопченные бока жестянок, чайников, кастрюль.

Так продолжалось с неделю. Потом к Дому культуры стали подъезжать грузовики, и семья за семьей покидали наш зал, их развозили по городу и устраивали на жилье. Уплотнение продолжалось. Меланжевый комбинат и новые заводы получали дополнительную, весьма квалифицированную рабочую силу. На наших глазах несчастье и горе войны деятельно перерабатывались общим усилием народа. Работники горкома и горисполкома дневали и ночевали среди эвакуированных, успокаивали недовольных, нервных, возбужденных людей, разъясняли положение, подбадривали, устраивали собеседования, выдавали пищу. И люди, наши бесценные люди, зачастую шли в цехи, на работу сразу же по приезду, не дожидаясь размещения на квартиры.

Картина нашей жизни в Барнауле будет неполной, если я забуду сказать о нашей концертной деятельности, по обслуживанию воинских госпиталей, выездах в деревню и т. д.

В Барнауле под госпитали было занято много учреждений, школ. Практически мы давали один концерт в два-три дня. Актеры кроме репертуара готовили стихи, монологи, скетчи, пели частушки под баян, танцевали. Часто бывало так, что мы не только давали концерты. Наши женщины шли дежурить в подшефный госпиталь, подменяя сбившихся с ног санитарок. Жизнь того периода, загруженность театром, многочисленными обязанностями худрука отнимали массу времени, некогда было, как говорят, оглянуться. А вот сейчас, оглядываясь на прожитое, с сожалением думаю о том, что многое упустил безвозвратно.

Подумайте только: я жил полтора года в одном дворе с А. Я. Таировым и А. Г. Конон. Театр их находился напротив. Как же мало я видел, ничего не записал из встреч, пребывания на спектаклях, некоторых репетициях. Теперь приходится полагаться только на память.

В 1942 году в Барнауле открылся цирк Шапито с цыганским хором. Я выбрал свободный вечер, чтобы сходить туда. Цирк был моей давней любовью. У ворот я совершенно случайно столкнулся с А. Я. Таировым. Оказалось, что и он направляется туда. Мы зашагали вместе. У нас не было близких отношений. Я всегда боялся навязывать себя, держался в стороне, выказывая ему то подлинное уважение, которое я испытывал. Для меня он был постановщиком спектаклей, казавшихся мне совершенством. И вот он, этот мастер и чудесник, шагает рядом со мной, придерживая рукой свой синенький беретик, морщится от едкой барнаульской пыли и, обаятельно улыбаясь, расспрашивает. Обычно при встрече с такими людьми молодого человека охватывает этаким трепет, он начинает ощущать тягостную необходимость говорить умно, проявлять всяческую «образованность». Но Александр Яковлевич, видно, понимал мое смущение. Он его снял непринужденным товарищеским тоном. Я почувствовал себя свободнее, нашел нужную манеру общения, и мне стало легко.

В цирке нас приняли радушно, усадили. Представление началось. Цирк был третьеразрядный, плохонький, военное время еще дополнительно обеднило его, лишив молодежи. Программу вели два клоуна, отрицательный и положительный, испол-

нявшие классические номера падений, обманных ударов. В первом отделении были акробаты, жонглеры, дрессировщица собачек. Клоуны дали эксцентрический музыкальный номер с куплетами о Гитлере. Все было бедно, жалко, едва держалось на приличном уровне. Но надо было видеть, как принимал программу Александр Яковлевич! Он буквально был поглощен всем происходящим на арене, смеялся, аплодировал каждому номеру, получал подлинное удовольствие от происходящего, бедность номеров его умиляла, трогала, он словно сострадал бедности. Я был больше увлечен его реакцией, чем происходящим на арене. В его увлеченности было что-то детски доверчивое, благородное. И мне приоткрылся секрет его пантомим, шуток театра, интермедий, пропевающих его ранние спектакли. Да, они шли от этой влюбленности в площадного актера, гаера. Конечно, эти наивные циркачи, старавшиеся как можно лучше исполнить свои нехитрые номера, были трогательны. Таиров смеялся до слез. Он, казалось, опознавал в выходах, репризах, поклонах, «комплиментах» вечный дух театральности. Потертые костюмчики, запотевшие на складках, стертые серебро узоров на старом бархате — все это дышало театром, он радовался этой встрече и искренне ей отдавался. Я получил урок. Снисходительность мою как рукой сняло. Я увидел, сколько интересного в этой традиционности приемов, как они питают юмор, иронию, пробуждают фантазию. Во втором отделении вышел цыганский хор. Он не отличался никакими достоинствами, до тех пор, пока не запела молодая, художавшая цыганка, сидевшая в центре. Цирк затих. Что-то захолонуло в моей груди. Так вот что потрясало Федю Протасова в «Живом трупе»! Цыганка пела о любви. Голос ее и сейчас звучит в моих ушах. Страсть и трагичность чувства подлинностью своей забирали в плен. Жизнь сводилась к простым и ясным понятиям чувства цельного, глубокого, равного Рождению и Смерти. Этим впечатлением закончился вечер. Оно смыло все. Я не помню нашего возвращения домой.

В начале 1943 года в разгар репетиций «Раскинулось море широко» Александр Яковлевич заболел. Мучительные почечные колики продолжались часами. А репетировать надо было, спектакли нужно было выпускать. Ведь речь шла о новой пьесе Всеволода Вишневского, написанной в сотрудничестве с А. Кроном и Б. Азаровым, но все же это был Вишневский, автор «Опти-

мистической трагедии», создавший самую высокую точку взлета Камерного театра. Сохранение этого автора в своем репертуаре было постоянной заботой Таирова. Поэтому в театре все было поставлено на ноги. У Александра Яковлевича приступ длился всю ночь; и к утру никто не представлял себе, как он сможет репетировать.

А утром, выйдя из своего дома, я увидел, как из противоположного парадного актеры выносили на скрещенных руках Александра Яковлевича, закутанного в большой тулуп или меховую шубу, точно не помню. Они бережно усадили его в уже стоявшие во дворе сани, лошадь тронула шагом, они пересекли улицу. Таким же манером его взяли на руки и понесли на второй этаж, в зал. Я был на этой репетиции и видел, как, закутанный в шубу, обложенный бутылками с горячей водой, Таиров сидел несколько часов не сходя с места, яростно, увлеченно репетировал, держа всю труппу в состоянии высокого напряжения. Отрабатывались терпеливо и тщательно, шаг за шагом, все действия, поведение актеров, детали освещения, синхронность музыкальных номеров. Я увидел, как качество возникало именно из этой яростной, требовательной рабочей скрупулезности, снятия всякой лишней, недостоверной детали в игре актеров и в общем оформлении спектакля.

Сейчас широкой популярностью пользуется новый жанр синтетического спектакля «Мюзикл», как известно, пришедший к нам из Америки. А что же такое были спектакли «Сирокко», «День и ночь», «Трехгрошовая опера» и вот этот «Раскинулось море широко», как не синтетическое зрелище, исполняемое великолепно тренированной труппой? Танцующей, поющей, движущейся по законам пластики и ритма, создающей острые, театральные, сатирические и лирические характеры?

«Раскинулось море широко» было сделано Таировым на базе всех возможностей его театра. Наивный сюжет приобрел подлинность жизни. На первый план вышла группа матросов — команда сторожевого катера, несущего береговую службу и не имеющего на своем счету ни одного сражения. Их тоска, сетования на судьбу, мечты о подвиге игрались актерами Ганшиным, Чаплыгиным, В. В. Кенигсоном ставкой лирической интонацией, которая заставляла улыбаться и трогала за душу. Ежова, «сухопутного моряка», снабженца, блестяще играл Ю. Хмельницкий. Легкий, изящный, весь как на шарнирах, самоуверенный молодой

человек был обведен вокруг пальца кажущейся наивной девочкой, опытной разведчицей, которую играла М. Фомина.

Запомнилась великолепно сделанная сцена ухода катера на боевое задание, когда они, приняв на борт разведчицу, отходят от пирса. Тут снова вступили в свои права ритм, четкость детали, рассчитанные на опознание подлинности. Катер отчаливал от пирса, моторы работали все тише, полоска моря на горизонте становилась все шире, на ее фоне появлялся макет маленького катера. Тут я снова увидел использование света как некоего поэтического образного начала. Узкая полоска моря на горизонте все более расширялась. Наконец, она заполнила собой весь горизонт, маленький катер исчез, растворился в огромной пучине моря — и этот образ раскинувшегося широко водного пространства впечатлял и волновал. В спектакле были использованы мотивы детектива, заложенные в самой пьесе. Но реалистичность разработки образов, атмосферы эпизодов, серьезный подход к теме осажденного города выдвигали на первый план патристическое начало. Спектакль, насыщенный светом, ритмом, музыкой, нес в себе все элементы культуры Камерного театра, был праздничен, эмоционален. Его отделанность, законченность и стройность звучания достигались напряженным трудом, требовательностью неистового руководителя, сидевшего в партере с приступом болей, но не уступавшего своей болезни ни одной крупинки искусства. А когда театр переехал в Москву и там состоялась премьера спектакля для столицы, то, по рассказам Кенигсона, снова все шлифовалось и перебиралось заново.

Как-то уже значительно позднее, в конце 50-х годов, будучи в Москве, я попал на премьеру «Порги и Бесс» оперы Гершвина в исполнении негритянской труппы из Америки «Эвримен-опера». Премьера состоялась в помещении Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко в присутствии дипкорпуса. Произвела на зрителей неизгладимое впечатление, в особенности интересно поставленная сцена поклонов в финале. Это по сути была целая интермедия, повторявшая элементы сюжета и характеров действующих лиц. Она превратилась в своеобразный самостоятельный спектакль, продолжалась двадцать минут и с тех пор появились такие интермедии-спектакли во многих наших спектаклях.

Но я не об этом хочу сказать. Негры-артисты жили в едином, заданном на весь

спектакль ритме. На сцене все было организовано в четком, строго подчиненном музыке движении, дисциплина жеста, культура тела — все это покоряло и, казалось, было связано с какими-то корнями негритянского народного мистериального действия. По окончании спектакля театральная публика не расходилась, молодые актеры группками стояли в вестибюле восхищенно пересказывали друг другу особенно понравившиеся детали. Виденное казалось им абсолютным новшеством. А я стоял обуреваемый досадой и горечью. Где оно, это неразумно растраченное богатство? Где театр Таирова, театр Грановского? То, чем восхищалась молодежь как заморской новинкой, было ничем другим, как рачительным, старательным освоением накопленного нами, нашим советским театром.

Говоря о Камерном театре, нельзя не сказать о его нервном центре, источнике высшего художественного наслаждения, великой трагедийной актрисе Алисе Георгиевне Коонен.

В Барнауле увидеть ее на сцене оказалось далеко не просто. Весь «ее» репертуар там не шел. Долгое время я встречался с нею в быту, она жила тут же, в одном дворе с нами, часто разговаривал с нею. В этой скромной, тихой женщине все звучало застенчивой внутренней мелодией. Даже когда она смеялась, то это было не как у всех, словно она выходила на минуточку из какого-то заточения души, чтобы снова туда вернуться. И только в глазах посверкивали искорки. Я заметил, что она не очень следила за своей внешностью. Может быть, это объяснялось войной, когда наряжаться было просто стыдно, не знаю. Алиса Георгиевна всегда немного куталась, на ней я запомнил какую-то вязаную кофту, длинную, с большими карманами. Большой воротник она заматывала вокруг шеи и закалывала громадной английской булавкой. Ей была свойственна некая отрешенность, непрактичность, что ли, она выглядела странной, диковатой женщиной-девочкой и, в общем, некрасивой. Пробуждали ее разговоры об интересном в искусстве. Тут она преображалась, делалась молодой, энтузиастичной, в ней жила вечная душа студийки. Я давно заметил, что большие артисты в жизни неказисты и застенчивы. Их сущность открывает только сцена. Так было и с Алисой Георгиевной. До войны я видел ее в «Оптимистической», в «Любви под вязами», в «Негре», «Машинале» и уже навсегда был пленен ею. Но как, какими словами описать таких актрис, как Алиса Геор-

гиевна Коонен? Ее женственность, сосредоточенность, пластичность, магию голоса и особую мелодию речи. Но более всего она выражала себя, свое отношение к роли через руки. О пластике ее рук можно было написать целое исследование. Я помню ее нежные, трепетные руки, подчиненные требованиям этикета XVII века, руки Адриены, беспомощные, потерявшие жизнь, опущенные вдоль тела в «Машинале», детские, наивные ручонки в «Негре», спокойные, рассчитанные жесты в «Оптимистической», заломленные в безмолвной муке тонкие пальцы Эммы Бовари. И голос, с выговором немного через нос, певучий, мелодичный, в нем, казалось, звучали классические размеры гекзаметра даже тогда, когда она произносила слова будничной речи.

Трудно себе представить, до какой степени были связаны Александр Яковлевич и Алиса Георгиевна со своим театром, со своим детищем. Так родители связаны со своими детьми. Помню в 1943 году трагически умерла от родов молодая актриса театра. Ее смерть всех потрясла. Но не менее потрясла и атмосфера, созданная театром, Таириным на похоронах. Он провожал ее как родную дочь. Комната в театре, затянутая черным бархатом, почетный караул, цветы, музыка — все свидетельствовало, что театру не безразличен уход товарища.

Мне рассказывали, что в Москве после ликвидации театра Александр Яковлевич утром вставал и после завтрака (он жил во дворе Камерного, ныне Пушкинского театра, и квартира его непосредственно соединялась с его кабинетом) выходил на Тверской бульвар и шел на угол к афишному стенду, искал на нем афишу своего театра. И, не находя ее, грустно возвращался домой. Может быть, это легенда. Но все, кто знал Таирова, не могут отказать ей в правдивости. Печален был закат этого стойкого, верного себе, своеобразного и сильного художника.

* * *

А моя судьба сложилась так, что мне довелось еще отправиться во Владивосток, туда я был приглашен официально. Добрый, уютный, приветливый Барнаул, пришла нам пора расставаться. Как ты вырос за эти два года! Сколько новых домов, обширных заводских корпусов. Когда я попадал в район меланжевого комбината, диву давался — новые цехи, новые громады. Барнаул рос, мужал, работал на победу! Мне

казалось, и я возмужал в этом городе, уезжал другим, познавшим и горечь разочарований, и радость успеха. Где-то нащупывались во мне подходы к овладению мастерством любимой профессии, воспитался взгляд на нее, осозналась связь с матерью-жизнью, великой питательницей художника, я жадно стал приглядываться и прислушиваться к окружающему и пони-

мал, как мало, в сущности, еще умею и как многому предстоит научиться.

...Поезд прогрохотал через обской мост, мелькнули обширные луга, новые заводские корпуса станции Алтайская. Все... Барнаул затянуло густой сеткой дождя. Но Барнаул, принявший меня и тысячи, тысячи советских людей в суровую годину, остался во мне навсегда — не только в памяти, но и в сердце.

КРИТИКА

Виталий ШЕВЧЕНКО

ДУШЕВНОЙ ЗРЕЛОСТИ ПРИМЕТА

Владимира Казакова знаю давно. Запомнилась запальчивость и категоричность, с которой он судил о стихах своих собратьев по перу. Такой же запальчивой, категоричной получилась и его первая книжка «Польнь-трава», вышедшая на Алтае двенадцать лет назад. Впечатление от этой книги осталось вполне определенным: в иных стихах было больше задора, темперамента, даже вызова, чем, скажем, глубинного проникновения в жизнь. Но уже тогда, как доброе предзнаменование, радовало присутствие собственного голоса в книге, какая-то удивительная схожесть темперамента стихов с характером самого автора. И это говорило об искренности, о стремлении к самовыражению. И все-таки лично мне казалось тогда: слишком много «буйства» в душе Владимира, какой-то напряженной, ревнивой оглядки, стремления, как говорил В. Белинский, «всем возобладать и ничему исключительно не покориться». Была, наверное, и способность откликнуться на чужую боль, ощутить ее, как свою, хотя заметить мне ее (тогда!) было трудно. Говорю я, разумеется, о весьма субъективном восприятии. Возможно, оно в большей степени искажает истину, чем выражает ее, однако в памяти именно таким и остался у меня Казаков: безжалостно резкий в суждениях, безоглядно уверенный в своих си-

лах. От него так и веяло нерастраченностью этой силы, какой-то завидной собранностью, целеустремленностью.

Словом, каков он в жизни, В. Казаков, таков и в поэзии: то сосредоточенный, почти хмурый, то неожиданно распадется душа настежь, и зазвенит в ней родниковая чистота бескорыстной русской природы.

Не припомнить все, что было, что сбылось, что не сбылось...
...Детство песням научило.
Словом в них отозвалось.
Перегрузки... перетруски...
Реже смех, трезвее пыл.
Жил по-русски,
пел по-русски
и по-русски любил...

В этом же стихотворении есть у Казакова и такие многозначительные строки:

...Свой костер мне душу греет,
по своей тропе иду.

Они — из четвертой книги поэта «Летнее поле», вышедшей в Барнауле в 1979 году. Прочел я ее на одном дыхании, с большим интересом. А еще радость была: состоялся поэт, несомненно, состоялся! Казакова я уже не спутаю ни с каким другим поэтом.

И не только Казаков вырос как поэт, как писатель за последние восемь-десять лет. В альмана-

хе «Алтай» № 2 за 1979 год с удовлетворением прочел я заметки Виктории Дубровской о творчестве алтайских поэтов «Истоки или источники?» — так она назвала свою весьма значительную по глубине исследования статью. Творчество В. Казакова рассматривается в этой статье, как своеобразное и значительное явление в литературной жизни края. Совершенно справедливо, на мой взгляд, автор отмечает в этой статье, что деревня не прошла для него бесследно так же, как и для Мерзликина, Черкасова, Панова, Башунова, но Казакова «интересует в первую очередь не психологические «границы», а социальный облик села». По мнению В. Дубровской, поэт продемонстрировал «новый подход к теме деревенского жизнестроительства, подход, кажущийся... весьма симптоматичным для современной поэзии». Так, в «Разговоре с матерью», — замечает В. Дубровская, — В. Казаков нашел интересное решение темы. То, что вызывает восторг приехавшего в деревню горожанина, обычно для села его будни.

Четвертая книга В. Казакова не осталась незамеченной. Газета «Алтайская правда» от 1 ноября 1979 года откликнулась на нее сразу двумя рецензиями. Их авторы А. Шестаков и Г. Прохорова, как отметила редакция, «сходятся в том, что определяют творческие возможности поэта В. Казакова, как серьезные и значительные. Но если А. Шестаков считает эти возможности полностью реализованными в книге «Летнее поле», то Г. Прохорова придерживается противоположной точки зрения, достаточно подробно анализирует просчеты сборника...»

Это обстоятельство и заинтересовало меня. Захотелось полистать все четыре книги поэта. Разумеется, вовсе не для того, чтобы с кем-либо спорить, ибо не

сомневаюсь в доброжелательности обоих авторов. Считаю закономерностью разные точки зрения на одно и то же литературное явление, давно не удивляюсь этому, убедившись, что читательское мнение складывается из двух, условно говоря, величин: **постоянной** (книжки) и **переменной**, под которой я имею в виду личность читателя, его жизненный опыт, мировоззрение, литературные вкусы, привязанности, отношение к современным проблемам нравственности и долга. Ясно, что своеобразный сплав этих двух величин (из которых одна переменная) дает третью — непременно переменную величину. В истории литературы немало тому примеров. Но я ведь не об истории... Когда бьет-ся живое сердце, то слышно, как оно стучит. Надо только остановиться на минуту, сбросить с души бремя неотступных житейских забот и постараться понять это чужое сердце.

А нам везло.
На море и на суше
держались мы дороги осевой.
Кепчонку — глубже!
Ремешок — потуже!
И небо —
в полстраны над головой...

Это — Казаков. В творчестве его — многое от кипения, от порыва. Как у каждого оригинального поэта, есть у него и свои поэтические «вершины», и свои проходные, необязательные стихотворения. Удивляться этому не приходится: кто из пишущих избежал этого? Когда читал его первую книгу, делал иной раз пометки на полях. Тогда, больше десяти лет назад, казались мне бравадой иные его строки.

Да и тайга — присмотреться,
очень умная женщина.
Просто так не полюбит,
за руку не возьмет.
Знаешь, милая Света,
пусть город и все такое,
а я поживу с тайгой,
если можешь — прости...

Сейчас я по-другому смотрю на эти строки: не нарочитая в них поза, а своеобразие личности поэта. Ну куда денешься от себя? Наверное, и сам он понимает, что частенько минутный порыв, темперамент берут у него верх над всей остальной гаммой человеческих чувств и обретений, и тогда мы замечаем то, что действительно может показаться бравадой, нарочитой краснотой в ущерб психологической правде.

Ой да э-эх гармонь, меха медовые.
Отступили печаль-тоска.

Где вы, девушки бедовые?
Оторвите гопака...
(«Гопака». Из книги «Польнь-трава»)

Или:

Если нашел королеву —
не отдавай королеву.
Лучше найди каравеллу
и увези королеву...

(«Если нашел королеву».
Из книги «Метельный город»)

А вот опять же из первой книжки:

До хруста в суставах,
до жадности в теле
я жизнь ощущаю,
весну ощущаю.
И снова, как в детстве,
растерян,
расстрелян
я эхом весны
и ее обещаньем.
И снова, как в детстве,
зовет и пугает
студеная синь
непонятого неба.
И за действительность принимаю
любую услышанную мною небль.

Выше я уже говорил о категоричности Казакова, категоричности к чужим просчетам. Но он и себя умеет править, умеет быть требовательным к собственному творчеству. Давайте сравним, как выглядит начало этого же (и не этого!) стихотворения, опубликованного через десять лет в книге «Первая любовь».

До хруста в суставах!
До боли! До вскрика!
Я жизнь ощущаю,
весну ощущаю
и, словно мальчишка,
смущен ее ликом,
и даже домашним
не обещаю,
что завтрашним днем
не назначу ей встречу
на дальних увалах,
у синего бора,
где наледь исклевана
вербной картечью,
а сосны — как стражи
от взора чужого...

Как видим, в повой редакции уцелело только три строчки... И таких примеров упорной работы В. Казакова над словом немало.

Как и все творчество В. Казакова, его четвертая книга с особенной, со своей весьма казаковской поэтической интонацией, в которой все явственнее проступает чувство тревоги и боли за судьбы людские, мудрая оглядка на пройденное, пережитое, потерянное, но не вычеркнутое из сердца.

Наивными кажутся нынче
вчерашние выси.
Живу я отнюдь
не в спокойном устроенном мире...

Это из стихотворения «Прощальная лету». Оно оканчивается размышлением вокруг новых душевных обретений поэта, в том числе потребности ценить не только людскую доброту, но и «доверие птиц и зверушек».

Образ летнего поля в последней книге поэта символизирует, как мне показалось, и пору зрелости, и близость весьма существенного рубежа, перевала, за которым долгожданная страда — сбор урожая... Не случайно в стихотворении «На летнем поле», давшем название всему сборнику, есть любопытное, на мой взгляд, признание:

...не где-нибудь, а здесь
открылось не тебе ли,
что продолженье поля есть
в любом достойном деле...

О том, что это стихотворение в какой-то мере является программным, говорит и его концовка:

Настанет время — обращу
кого-то в свою веру,
Что с каждым днем моим
светлей
во всем первооснова:
воздастся за любовь к земле
и колосом, и словом.

В биографии Владимира Казакова было все: и село, и война, и море, и прителецкая тайга... А еще — комсомольская и журналистская работа, строительство Красноярской ГЭС в качестве слесаря-монтажника, Литературный институт имени М. Горького. Упомянул я об этом не случайно: пусть сама по себе биография и не создаст поэта, но без нее, без биографии, трудно представить себе серьезного писателя в наше время.

Казаков не успел увидеть воочию все ужасы войны, но он увидел и запомнил ее кровавый, безжалостный, голодный, злоедающий след. Отблеск этого своеобразного видения находим и в его творчестве, в частности, в стихотворении «Тракт»:

Он днем и ночью нес и нес
откуда-то из-за Урала
и детский плач,
и скрип колес,
и обреченный гул металла.
Была война...

Да, уже выросло и возмужало поколение, которое помнит войну не по грохоту орудий, а по безутешным слезам вдов, по лебде и польнь-траве вместо хлеба.

Не обошло горе и Владимира Казакова...

Не тебя одного —
поколение
на отцов обокрала война...

Это обращение к своему сверстнику — Геннадию Кайгородову, но сколько тут личной боли!

У едва приметной межи
неожиданным вырвалось

— Эх ты, папка!..
Был бы ты жив!..

Что я вынес из знакомства с книгами стихов В. Казакова? Поэт, на мой взгляд, обрел зрелый голос художника, оставаясь в то же время удивительно верным избранной им активной жизненной позиции, своим не только эстетическим, но и идейным принципам. От книги к книге ширится круг проблематики, щедрее россыпь поэтических ассоциаций, явственнее следы упорной работы над словом, непрерывности художественных поисков. Убеждает в этом и «Летнее поле», в частности, такие лучшие стихотворения сборника, как «В зимней степи», «Прощальная лету», «Как в молодые годы...», «На летнем поле», «Пока не разгулялся рекостав», «Штрихи к портрету Геннадия Кайгородова», «Тайга», «Сибир-

ские полустанки» и другие. В последнем из названных есть строки:

Родина!
Я понимаю,
что славу твою и честь
куют и на щит поднимают
прежде всего не здесь.
И громче, и знаменитей
есть местности и края...

Своеобразие художественного почерка В. Казакова во многом обусловлено его любовью к Алтаю, верностью родной земле. Куда бы жизнь ни заносила поэта, нити, связующие его с родной землей, только ту же натягивались, звонче пели.

Благословенна будь дорога
для мужа, война, юнца...
Для всех, кто далеко, надолго
ушел от отчего крыльца...
...Но трижды будь благословенна
тропа,
что под вороний грай,
как ни петляет — непременно
приводит снова в отчий край.

Казаков не ищет в свои зрелые годы внешних эффектных, не кидается на выигранные, но «чужие» темы. Стих его становится сдержаннее, не чуждается иногда прозаизмов, но за ним всегда чувствуется пережитое, выстраданное. Иногда шероховатостью отдает от безмядной го-

рячности поэта, когда он обращает читателя в «свою веру» — веру подлинного гражданина.

Но когда чья-то подлость
голос вдруг поднимала,
мы умели ответить —
кто мы есть и зачем!..

Сейчас В. Казаков работает над новой своей книгой. О чем она? Конечно же, о самом сокровенном.

Легким прикосновением к этой будущей книге оказалась мне публикация нового стихотворения «В человеке все от земли» («Алтайская правда» от 21 ноября 1979 г.), посвященном бывшему разведчику И. Д. Коржавину. Есть там строки:

Допылать
а не допылить,
подтверждая закономерность:
в человеке — все от земли —
и Терпенье,
и Стойкость,
и Щедрость...

Прав поэт! Допылать — совсем не то, что допылить... И конечно же, не легко они пишутся — главные книги, главные страницы жизни. Но они писались и будут писаться до тех пор, пока имеющие фонарь Диогена будут иметь и его посох...

Ю. СОРОКИН

ХЛЕБ СИБИРИ — ТЕМА ХУДОЖНИКОВ

У Владимира Солоухина есть рассказ. Он называется «Поминки». Сюжет самый немудрящий: односельчане, соседи собрались к тете Агаше помянуть, по русскому обычаю, ее мужа, хорошего человека — Ивана Дмитриевича. Помянули, пошумели и постановили в двухдневный срок провести в ее избу свет и поставить железную оградку на могилу мужа, а земляку-писателю — написать обо всем этом в журнал или в газету, что он и сделал.

Не мог не сделать, ибо слишком хорошо знал и любил своих героев; и рассказ получился очень человечный, освещенный каким-то внутренним теплом и светом.

Случай этот почему-то всегда приходит на память, когда бываешь в мастерской алтайского живописца Геннадия Борунова, вглядываешься в лица его героев.

Сказать, что этюды, портреты земляков-павловцев для него рабочий, черновой материал было бы не только неточно, но и несправедливо. Одно из удивительных качеств этого художника заключается в том, что он не может писать человека, которого бы хоть мало-мальски не знал, не испытывал к нему душевных симпатий.

Герои Борунова, будь то деревенский старик, юная трактористка, чудаковатый пастух или колхозная пекарка, наеквонь свои, близкие люди. С каждым из них у художника связана история, случай, добрые воспоминания.

Наверное, именно поэтому в двух больших полотнах художника «Мои земляки» и «Председатель. Колхозная осень», разделенных едва ли не полутора десятками лет, мы встречаемся с одним и тем же человеком, другом детства художника Кольцовым.

Картина Г. Борунова «Председатель. Колхозная осень» явилась одним из значительнейших произведений минувшей зональной выставки «Сибирь социалистическая».

Жанровая картина сегодня предмет особой заботы, особого внимания выставкомов, живописцев, критики.

При всей сложности задачи художник сумел обойтись здесь без «литературности» хода, сущность которого заключается в том, что образность подменяется описательностью, то есть цвет, ритм, композиция и другие элементы художественного языка имеют лишь подсобное значение. В этой работе тема раскрывается глубоко художественными образами.

К предстоящей V зональной выставке художник работает над новой крупной многофигурной компо-

зицией «Красный трактор», повествующей о сложном периоде коллективизации в Сибири.

Геннадий Борунов любит работать один, питая свое вдохновение в родном Павловском районе, в то время как другие члены творческой группы «Хлеб Сибири» новосибирцы Е. Коньков, И. Попов, Н. Домашенко, барнаульцы П. Миронов, М. Ковешникова, иркутянин А. Вычужанин, кемеровчанин А. Ананьин пашли своих героев, свои темы на полях колхоза «Россия» Змеиногорского района Алтайского края, куда совершили две продолжительные творческие поездки.

Художники Сибири работают в нескольких таких творческих группах: «Энергетика Сибири», «Хлеб Сибири», «Индустрия Сибири», «Нефть и газопровод Сибири».

Время подсказывает эту новую, впрочем не такую уж и новую, форму творческого поиска. История советского искусства знает примеры подобных походов художника в самую гущу жизни. Задачи изобразительного искусства сегодняшнего дня будто перекликаются с декларативной программой художников Ассоциации Революционной России, которые главной задачей считали долг художника изобразить... «сегодняшний день, быт Красной Армии, быт рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда, дать действительную картину событий...»

Дать действительную картину событий, происходящих в нашей стране, шагнувшей в седьмой десяток своей истории, наверное, под силу только организованным, целенаправленным усилиям творческих бригад, коллективам художников.

Тема человека земли, тема крестьянского труда грандиозна и неисчерпаема, как сама земля. Образ ее работника, образ землепашца овеян вековым почтением, глубоким уважением. Наверное, далеко не случайно самое емкое воплощение богатырской силы, мудрости, нестоимого терпения народная фантазия видит в удивительной фигуре Микулы Селяниновича. Нет силы равной ему, нет труда тяжелее и нужнее крестьянского. Возвести красоту труда в категорию эстетическую, показать всю бесконечную глубину и значительность этой темы — почетная задача искусства.

По-разному художники воспринимают эту тему, по-разному отражают в своих произведениях. Можно много говорить об особенностях творческих индивидуальностей, о специфических возможностях того или иного жанра, но в главном всех художников разных городов Сибири, работающих над темой крестьянского труда, объединяет одно общее качество

во — глубокое и искреннее уважение к людям этой древней и благородной профессии.

Графика традиционно считается наиболее мобильным, тематически актуальным видом изобразительного искусства. Однако цикл из 14 листов, выполненных новосибирцем Е. Коньковым на материалах поездки, заставляет по-иному взглянуть на вещи. В его работах «Бабье лето», «Пастушок», «Мои натурщики» превалирует лирически-созерцательный настрой. Типичные для графики «боевитость», оперативность уступают здесь место неторопливому размышлению, глубоко личному восприятию картин сельской жизни.

Художник творит в неторопливых ритмах села, это эпизоды тихих вечеров, обедов на полевом стане, сцены на ферме.

Безусловно, Е. Коньков рассматривает эту панораму деревенской жизни глазами городского человека. Каждый его графический лист — это рассказ, вернее, повествование, идущее от интимного, личного, камерного.

Если в работах Г. Борунова чувствуется его незримое, но активное личное присутствие, то здесь дело обстоит иначе.

В графике Е. Конькова угадывается искренний интерес к своим героям, но это скорее интерес исследователя, наблюдателя.

Руку этого графика не спутаешь ни с чьей другой, великолепный «технолог», он несколько холодно ват в своих усложненных композициях, что впрочем не снижает главных достоинств его мировидения, большого желания понять жизненный уклад, разобраться в сложной и многозначной реальности окружающего.

В лучших работах цикла «Солдаты возят хлеб», «Ферма», «Деревенский кирпичный завод», попытки постижения важных проблем творчества и современности, несомненно, удалась автору. Художник убеждает, что взаимоотношения человека и реальной жизненной среды, находящиеся в центре его внимания, — достойный объект творчества.

Скульптор П. Миронов является убежденным сторонником творческих бригад, очень ценит он полезность и благотворность контактов художников, работающих в разных жанрах. Общение с коллегами, с товарищами в процессе творческого поиска, их заинтересованная доброжелательность и в то же время критический взгляд — вот та среда, в которой, по его мнению, могут и должны вынашиваться будущие образы.

Такие работы, как «Дояр Антон Ягривев», «Александр Жаров», «Механизатор Пай Бай» и др. — это серьезный этап работы скульптора, создавшего портретную галерею широкого творческого диапазона, имевшую заслуженный успех на предыдущих выставках.

Много и плодотворно работает П. Миронов в области пластики малых форм, хорошим подготовительным материалом явились для него этюды, созданные в колхозе «Россия». Это фигуры столяров, кузнецов, колхозных механизаторов, каждый день виденных автором на полях, в мастерских, на фермах.

Только на основании реальных наблюдений, прямых контактов с живыми людьми могли появиться такие законченные, сгармонизированные работы, как «Утро», «В поле».

Но все же наиболее полно раскрывается скульптор в области сложных групповых композиций. Работа «Первые коммунары» посвящена истории рождения одного из первых в Сибири колхозов и прототипы ее, конкретные люди, Филипп Полкарпов, Лукерья Климова, Илларион Котов.

В этой масштабной композиции скульптору уда-

лось сохранить и донести до зрителя главное — неповторимое дыхание времени.

Не делая слишком большого упора на антураж, сравнительно скупыми выразительными средствами автор вводит зрителя в атмосферу далеких 20-х годов, показывает нам людей высокой цельности и обаяния.

В еще более сложном развитии предстает эта задача в композиции «Мои Герои», экспонированной на XX краевой выставке. То, что было представлено автором, трудно вместить в рамки традиционного понятия материала экспозиции. Это не готовое решение, не этюд, скорее всего это процесс материализации творческого акта. И процесс этот в той стадии, когда неискушенный зритель уже может приобщиться к тайне рождения произведения, заглянуть в «кухню» художника.

Довольно неожиданная композиция запечатлела тот момент, когда встретились четыре человека. Четыре человеческие судьбы, четыре характера: В. М. Вахолдина, С. Е. Пятница, В. С. Камышников, П. Я. Шумаков.

Этих людей знает вся Сибирь, вся страна. С их именами связаны представления о героях первых пятилеток, об огромных площадях перепаханной земли, неласковых военных и послевоенных годах, представления о труде на пределе человеческих возможностей, представления о подвиге, о славе.

Перед автором стоит нелегкая задача, уже на этом этапе работы видно, что отступать или идти по пути создания официозно-парадных портретов знаменитых людей скульптор не может и не хочет. Его задача глубже и сложнее. Живых людей, гордость современного сибирского села должен увидеть зритель по завершении этой необычной работы.

Крупные выставки тем и хороши, что в ходе знакомства с авторами, с произведениями постоянно делаешь для себя все новые открытия. У одних художников подкупает лиричность, сильной стороной другого является умение опозитивировать явление, героев, у третьих — высокое чувство трудового пафоса, подлинной гражданственности звучания темы.

У новосибирского живописца И. Попова таким отличительным качеством является душевность, постижение сути характера простого человека — сельского жителя.

Судьба и биография художника тесно связаны с судьбой и биографией большого мастера русской советской прозы, известного режиссера и актера кино, его двоюродного брата Василия Макаровича Шукшина. Не потому ли так убедительны его герои? Нужно хорошо знать привычки, характеры, манеру держаться этих пожилых деревенских женщин, чтобы найти и запечатлеть то единственное и неповторимое мгновение, которое схвачено в его картине «В сельском клубе».

В чем-то перекликается его полотно «Разговор» с шукшинским рассказом «Сохнет-вянет». Без лишнего слов здесь ясно, что речь идет о несложившейся судьбе женщины, о ребенке, которому нужен отец, о том третьем, который мог бы прийти в эту семью. Зритель чувствует всю напряженность этой затянувшейся паузы, угадывает, что не случаен этот разговор, что от его исхода зависит их судьба.

Наверное, точно такая сцена могла происходить и в среднерусском, и в уральском селе, но у нас почему-то не остается сомнения, что дело происходит именно в Сибири, именно в предгорьях Алтая — так правдив и точен интерьер сибирской избы и пейзаж за ее окнами.

Сейчас И. Попов работает над крупным полотном под условным названием «Проводы сына». Любопытно, что и здесь изображено всего три челове-

Но... сходили на почтамт, и девушка из отдела до востребования ничем ни Сашу, ни Владю не обрадовала — переводов им не было.

— Ладно, ребята. Если б вы знали, что меня ожидает. — Пантелей достал бумажник. — Кутить так кутить, на весь рубль! Идем втроем. Владя, ты в «Сибирь» за «Агдамом», а мы с Сашей заглянем на почтамт — вы-то там были, а я еще нет.

— Спать не надо долго, знаешь ведь некрасовскую фразу: «Письма мне может и не быть, но перевод мне быть обязан!»

А на почтамте его ждала новость — его пригласил на разговор клиент из Марково. Конечно, Болдырев. Заказ поступил два дня назад, переговоры через час. Пантелей ждал звонка лишь завтра.

«Как вовремя подвернулся Владя со своим «Агдамчиком», а то пришел бы завтра и привет переговорам. Что же нового скажет Владимирыч?» — думал Пантелей, расписываясь за телеграмму о переговорах, а в это время девушка положила перед ним на стойку зеленый бланк телеграфного перевода.

— Марково, заказ четыреста восьмой, седьмая кабина!

В кабине было душно, и голос Болдырева едва продирался через трески и шумы длинного телефонного тракта. С большим трудом Пантелей понял, кто такой Дмитрий Заикин, что он уехал из Алма-Аты и проживает сейчас в Тайшете.

«Слава богу, хоть не в Калининграде», — слабо подумал Пантелей. Он с трудом понимал Болдырева, как ни бился, а названия улицы так и не понял, только номер дома — 17. Значит, или частный дом, или многоквартирный особнячок. А раз так, то это где-то ближе к окраине.

По дороге Пантелей молчал, безучастно наблюдал, как Саша проводил закупки продуктов, а дома вообще уставился в окно и не оборачивался, пока Саша с Владей открывали сардины, ставили на стол «Агдамчик» и коньяк, раскладывали тонкие листы буженины, разливали в стаканы. Наконец, сели. Но тут же Пантелей поднялся и быстро начал сбрасывать вещи в чемодан.

— Книжки вы мне вышлете. Я поеду сегодня. Сейчас. В Тайшет.

— Куда-а?

— Тю, дурак. Допей хоть, что налито. Муха укусила? — Саша Жаров, ну просто само негодование. — Что тебе в том Тайшете?

— Там у меня ключевой человек. — Пантелей опускается на стул. — Хотите,

я вам одну веселенькую историйку расскажу?

3

— Черт побрал бы! — На сей раз Владя не играл томного мужчину. Он действительно был потрясен.

— А ведь тебе, знаешь, кто поможет? Витька Мальцев. Он там в уголовном розыске работает. Точно! Он сейчас здесь на сессии в высшей школе милиции. Пиши на своего Заикина все тактико-технические данные, — Жаров уже сбросил трико и переодевался.

Его не было часа два, и Владя, истомившись от запаха коньяка, пару раз прикладывался к «Агдамчику». Пантелей что-то строчил в блокноте.

— Все! — Саша был запылен и тяжело дышал. В руке он держал авиабилет. — Витька позвонил своим коллегам, они сегодня отыщут твоего Заикина. Вот билет на завтра. Хорошо, хоть сдачу с твоей сотенной не успел отдать, пришлось бы еще раз мотать сюда-обратно. В порядке исключения билет взяли без твоего паспорта. Там тебя встретит милиционер. Видишь, какие тебе почести, комиссар Пангрэ! При случае поставишь Витьке коньяк. Парень он хороший. Я с ним на первом курсе двадцать дней прожил на квартире у одной мегеры.

Кажется, Жарова прорвало. Он прыгал на одной ноге по комнате, стараясь второй попасть в штанину трико. Сел за стол, посерьезнел:

— А братцы, сколько еще на свете недобитого дерьма! Сколько еще есть действительно неразрешимых ситуаций! Я вот приехал в один район к старой коммунарке, а она плачет — сосед у нее появился, сын кулака, которого она в тридцатых годах раскулачивала. Вернулся из тех мест с деньгами. Построил дом. Работает сварщиком. Живет — кум королю. А она всю жизнь проработала в колхозе, в тридцатых, и в войну, и после войны, а теперь получает пенсию на общих основаниях. Скромную пенсию. А председатель не может додуматься обеспечить ее своей, колхозной, повышенной. Сама она просить не пойдет — не будет унижаться. А родственников у нее нет. Вот так...

«Тебе что, Саша, — думал Пантелей. — Ты работаешь в краевой газете, у тебя поле деятельности — весь край, можно какие угодно сюжеты ловить. А что сделаешь в районке, когда надо гнать строчки, когда каждый год одно и то же: одни и те же передовики, одни и те же компании и кампа-

ка. В построении таких «треугольников», видимо, одна из особенностей метода И. Попова.

Молчаливым диалогом между отцом и солдатом-сыном художник убедительно передает состояние момента.

Отгостил приехавший на побывку в родную деревню сын, по раскисшей дороге на колхозной бричке добрался до полустанка, теперь прощаются, ждут поезда.

Сюжет при всей своей ординарности не может оставить равнодушным, волнует. Автор не навязывает своей концепции прочтения произведения, зритель волен разрабатывать свои варианты, по-своему толковать происходящее.

Интересны графические листы кемеровчанина А. Апаньина, с большой любовью рассказывающего о высокогорных чабанских стоянках, о мудрых, живущих единой гармоничной жизнью с природой хозяевах этих гор, стариках, женщинах, детях.

«Приготовление пантов» — называется одна из его работ, экспонированных на минувшей зональной выставке. О романтической профессии мараловодов, о большой любви к своему делу, о древнем заповедном искусстве врачевания и волшебной силе оленьих пантов узнаем мы из этой работы.

И все-таки хлеб — всему голова. Пшеничный каравай на шитом полотенце испокон веку был в народе символом изобилия, довольства, подлинным венцом крестьянского труда. Мастер натюрморта барнаульская художница Майя Ковешникова пишет любовно, самозабвенно. В ее полотнах хлеб прямо связан с судьбами, биографиями.

«Натюрморт с хлебом», «К чаю», «Хлеб и соль», «Алтайский хлеб», «Хлеб, молоко и ягоды», «К обеду комбайнеров», «Хлебы» — знакомство только с этими работами убеждает в том, что писать о хлебе можно бесконечно.

На недавней персональной выставке, посвященной 25-летию творчества, можно было проследить, как развивалась эта тема: «В ученической бригаде», «На ферме», «Хлеб убрали», «Конец уборки».

Глазами крестьянки, труженицы глубокого тыла, глазами матери увидела она смутные образы, связанные с прошедшей войной: «Мать солдата», «1942 год», «Незабудки». Перед старой фотографией трех мужчин в деревянной рамке — стоит букет незабудок. В этой работе особенно явственно проглядывает характерная для последних лет тенденция к предельному лаконизму, суровому отбору деталей, технических приемов.

Драматизм проходит через лирику, шемящее чувство по невернувшимся с войны достигается четкими пластическими характеристиками, цветочная гамма сплетается из мягких пастельных отношений.

Чрезвычайно интересны ее интерьеры. Художница не посторонний человек в домике чабанов или древней старообрядческой избе.

Важное место в ее сельских интерьерах занимает окно. На этом окне может стоять горшок герани, лежать теплый хлебный каравай, висеть связка лука, а за окном открывается вольгудая картина спеющей пшеницы, голубеющих гор или сбегающих к реке таежных домиков.

Сельская горница, домик доярок — чарующая прелесть этих уютных уголков, наивно пестрых и вместе с тем очень собранных и торжественных в своей стилевой законченности, как бы утверждающих веками сложившиеся в народе представления о красоте.

Художница любит писать «грубые» и прекрасные плоды земли, картины ее воспевают красоту земли и дело рук человеческих.

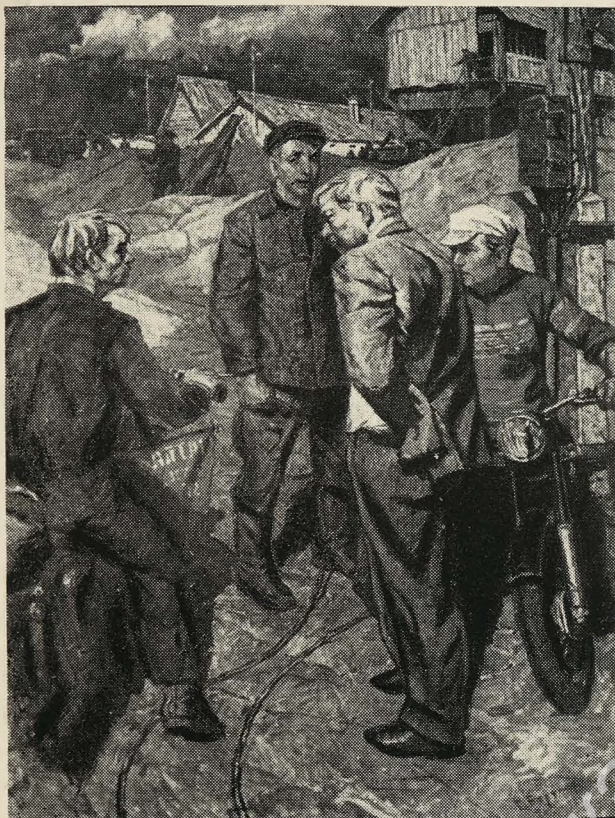
Известный сибирский живописец иркутянин А. Вычугжанин так же, как и молодой новосибирский график Н. Домашенко, специально приезжал на Алтай в составе творческой бригады, чтобы увидеть тех людей, которым суждено было стать героями будущих произведений.

«Колхозные кузнецы Тюленевы» — это, в сущности, грудной портрет, построенный по принципу жанровой картины. Вместе с тем это совершенно конкретные индивидуальности со своими характеристиками, со своим отношением к реальному миру.

Четыре графических листа Н. Домашенко из серии «Мои современники», посвященные самым земным и прозаическим сельским профессиям, экспонированные на зональной выставке в г. Томске в 1974 году, привлекают тонким раскрытием темы, глубоким пониманием своей художественной задачи, что делает работы значительными, оригинальными.

Жизнь современного села, с его проблемами, переменами, человеческими взаимоотношениями, то есть жизнь во всех ее проявлениях, требует полного и объективного отображения в искусстве. И вполне оправдано и даже символично, что очередная зональная выставка «Сибирь социалистическая» состоится в 1980 г. в центре хлебной житницы Сибири — Барнауле. Алтайским художникам предстоит серьезный экзамен. И надо полагать, что они порадуют поклонников и ценителей искусства новыми интересными произведениями.

Электронная библиотека



На первой странице обложки
гравюра Б. ЛУПАЧЕВА.



Г. БОРУНОВ. «Председатель.
Колхозная осень». 1974 г.



Портрет В. И. Морозова,
заслуженного механизатора
РСФСР. 1974 г.

Б 1082029

40 коп.

И. ПОПОВ. «Проводы сына». Х. м., г. Новосибирск.

